



ЕВРОПЕЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Дмитрий Травин

**Испания: история провала
(Россия Нового времени:
выбор варианта
модернизации.
Доклад 3)**

Препринт М-89/22

Центр исследований
модернизации



Санкт-Петербург
2022

УДК 94(41/99)
ББК 63.3(4Исп)
Т65

Т65 **Травин Д. Я.**

Испания: история провала (Россия Нового времени: выбор варианта модернизации. Доклад 3) / Дмитрий Травин : Препринт М-89/22. — СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2022. — 76 с. — (Серия препринтов; М-89/22; Центр исследований модернизации).

Этот доклад завершает цикл из трех докладов, начатый препринтами М-67/18 «Англия: история успеха» и М-74/19 «Франция: успешная страна на пути к провалу». В целом данный цикл публикаций посвящен вопросу о том, какой путь развития могла выбрать Россия в Новое время, исходя из объективно сложившихся обстоятельств и изучения европейского опыта.

Информация об авторе: Травин Дмитрий Яковлевич — кандидат экономических наук, научный руководитель Центра исследований модернизации (ЕУСПб); dtravin61@mail.ru.

...Он всецело отдал себя под покровительство госпожи своей Дульсинеи, обратился к ней с мольбой помочь ему выдержать столь тяжкое испытание и, заградившись щитом и пустив Росинанта в галоп, вонзил копье в крыло ближайшей мельницы; но в это время ветер с такой бешеной силой повернул крыло, что от копья остались одни щепки, а крыло, подхватив и коня и всадника, оказавшегося в весьма жалком положении, сбросило Дон Кихота на землю.

Мигель де Сервантес Сааведра [де Сервантес: гл. VIII]

Печальную судьбу своей родной Испании Сервантес предсказал задолго до трагической битвы при Рокруа, положившей конец ее военному могуществу, и тем более задолго до войны за испанское наследство, переведшей ее в число второразрядных держав. Как сложатся события в будущем, он, естественно, знать не мог, но в образе Дон Кихота, неадекватно оценивающего реальность, нелепо фантазирующего, живущего далеким прошлым и сражающегося с той силой, которую нельзя победить, Сервантес представил страну и эпоху с удивительной даже для выдающегося писателя прозорливостью. История неудач Дон Кихота — это в образной форме история неудач Испании, начинавшей свои «героические странствия» в конце XV века с попытки вознести до небес идеи Средневековья, а закончившей их в начале XVIII века, так и не осознав, что мир развивается.

Святая Тереза и «Критика чистого разума»

Знаменитый английский историк Томас Маколей как-то раз сказал про испанцев прямо примерно то же самое, что Сервантес выразил в обтекаемой художественной форме: «Между тем как другие нации пере-

стали быть детьми, испанец все еще и думал, и понимал, как дитя. Посреди людей XVII столетия он был человеком XV столетия или еще более темного периода, с восторгом смотрел на аутодафе и готов был отправиться в Крестовый поход» [цит. по Ивонина 2007: 110]. Французы, сумевшие по итогам войны за испанское наследство поставить во главе страны представителя династии Бурбонов Филиппа V, оценивали итоги правления Габсбургов Испанией примерно следующим образом: «...это труп, не имеющий духа и не способный почувствовать собственное бессилие» [Kamen 1978: 25].

Можно сказать, конечно, что англичане-протестанты создавали так «черную легенду» об Испании как об оплоте ненавистного им католицизма, а католики-французы легитимировали в XVIII веке с помощью мифологизации прошлого приход новой власти, навязанной испанцам Людовиком XIV. Но современный испанский писатель Артуро Перес-Реверте справедливо заметил, что, хотя в других странах было не меньше жестокостей, чем в Испании, «большой частью эту малоприятную славу мы заработали благодаря ядерной смеси из легкомыслия, бескультурия, коварства, жестокости и фанатизма» [Перес-Реверте 2021: 114].

Сами испанцы немало писали об утраченных возможностях, которые имелись у них в «золотой век» монархов Фердинанда и Изабеллы [Kamen 1978: 25–28; Goodman 2005: 376–377]. А в XX веке знаменитый испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет нарисовал образ своего соотечественника как предельно консервативного человека, не способного адаптироваться ни к каким переменам: «Истинному испанцу ничего не нужно. Более того, ему и никто не нужен. Вот почему наши люди — такие ненавистники новизны и новшеств. Принять что-либо новое со стороны было бы унижением для нас. <...> Для настоящего испанца любое новшество — это прямое личное оскорбление» [цит. по Харрисон 2016: 47]. По сути дела, Ортега-и-Гассет выразил иными словами утверждение Маколея об инфантильности испанцев. Ведь целиком отрицает новое лишь тот, кто хочет остаться ребенком и боится взрослеть.

Любопытно, что нечто похожее сказал о своих соотечественниках сицилийцах современник Ортеги-и-Гассета князь Джузеппе Томази де Лампедуза в романе «Гепард»: «Сицилийцы никогда не захотят исправиться по той простой причине, что уверены в своем совершенстве. Их тщеславие сильнее их нищеты. Любое вмешательство чужих, будь это чужие по происхождению или, если речь идет о сицилийцах, по независимому духу, воспринимается ими как посягательство на утопию о достигнутом совершенстве, способное отравить сладостное ожидание не-

бытия. <...> Сицилия спала и не хотела, чтоб ее будили. Зачем ей было слушать их, если она богата, мудра, честна, если все ею восхищаются и завидуют ей — одним словом, если она совершенна?» [Лампедуза: гл. 4] Формально это сказано именно о сицилийцах, но, думается, слова князя можно распространить и на испанцев, поскольку в позднее Средневековье и в начале Нового времени исторические судьбы многих народов Южной Европы оказались связаны с испанской империей. Почти все, о чем пойдет речь в дальнейшем, можно отнести к «большой Испании», включающей весь Пиренейский полуостров и Южную Италию.

Прошли годы, и вот уже Перес-Реверте вложил в уста героя своего романа «Тень гильотины, или Добрые люди» (о конце XVIII века) слова, развивающие и уточняющие мысли Маколея, Ортеги-и-Гассета и Лампедузы: «Апатия и покорность — вот наши национальные основы. <...> А заодно нежелание усложнять себе жизнь... Нам, испанцам, нравится чувствовать себя чем-то вроде несовершеннолетних. Такие понятия, как терпимость, разум, наука, природа, мешают нам спокойно спать в любимую сиесту... Стыдно сказать, но мы, подобно индейцам или африканцам, последними получаем новости и знания, которые получает просвещенная Европа» [Перес-Реверте: гл. 3].

Известные историкам факты подтверждают «художественный вымысел» писателя. Испания была, например, европейским «рекордсменом» по снижению роли книг в жизни общества. Если в X веке там создавалась примерно треть всех манускриптов Европы, то в XVII–XVIII столетиях испанцы печатали лишь около 2–2,5 % книг. Специально отметим, что такой провал был характерен не для католических стран в целом (хотя они, конечно, уступали протестантским в книгоиздании), а именно для Испании, отстававшей в XVII веке от Италии в пять раз, а от Франции в шесть по потреблению книг на душу населения. Примерно таким же было отставание от этих стран и по доле грамотных. Испания со своими 5 % в XVII столетии лишь чуть-чуть опережала по грамотности таких католических аутсайдеров (по 3 % каждая), как Ирландия и Польша [Buringh, van Zanden 2009: 421, 423, 434]. Все это было следствием жесткой цензуры со стороны инквизиции: в частности, запрета на публикацию и ввоз многих изданий, начиная с книг Эразма Роттердамского [Лозинский 1914: 300–307]. Зарубежные научные труды (даже по медицине) могли запрещаться лишь потому, что написаны протестантами. В общем, цензура подорвала нормальные отношения Испании с ведущими центрами европейской мысли, и случилось это как раз в период научной революции [Goodman 2005: 384–386].

Более того, указом Филиппа II 22 ноября 1559 г. испанским подданным запрещалось учиться в зарубежных университетах, за исключением болонского [Мильская, Рутенбург 1993: 537]. Таким образом, пресекалось проникновение чуждых духу контрреформации идей не только через ввезенные в страну книги, но и через людей, которые могли бы что-то опасное прочесть или услышать за рубежом. В самой же Испании образование в высших коллегиях и университетах до 1767 г. полностью находилось в руках Церкви и велось почти под исключительным контролем иезуитов на основе старых учебников и текстов [Суховерхов 2012: 50].

В условиях низкого уровня грамотности и при отсутствии доступных населению книг важнейшим механизмом воздействия на массовое сознание оставалась церковная проповедь, а это, в свою очередь, повышало и без того высокое влияние Церкви на испанцев [Волосюк, Липкин, Юрчик 2014: 93]. «Невежество безмерно, науки наводят ужас», — замечал итальянский дворянин во время своего путешествия по полуострову в 1688 г., и в те же годы английский путешественник сделал печальный вывод, что «во всех родах учения испанцы позади всей остальной Европы» [цит. по Кеймен 2007: 692]. Прошло сто лет, и в 1783 г. французский автор пишет: «Испанцы, возможно, самая невежественная нация в Европе. Что можно ждать от людей, которым нужен монах для получения права читать или размышлять?» [цит. по Goodman 2005: 375].

Примеры подобных высказываний об Испании можно приводить еще и еще. Неудивительно, что для ряда скептически глядевших на положение дел авторов (от Маколея до Переса-Реверте) Испания — это проблема. Но для других авторов, видевших то же самое, Испания — это решение проблемы. Вот удивительное признание великого испанского мыслителя Мигеля де Унамуно, сделанное в начале XX века: «Я чувствую, что во мне живет средневековая душа, и мне кажется, что душа моей родины средневековая. <...> А кихотизм — это и есть как раз самое безнадежное в борьбе Средних веков против Ренессанса, который из них вышел» [Унамуно 1996: 294]. Казалось бы, здесь тоже прослеживается явный скептицизм. Но дальше вдруг Унамуно, примерно так же, как столетием раньше наш Петр Чаадаев [Травин 2018а: 28–29], начинает не столько страдать из-за отсталости своей родины, сколько гордиться ее особым путем: «Другие народы оставили после себя главным образом общественные институты, книги; а мы оставили после себя души. Святая Тереза стоит какого угодно института, какой

угодно *Критики чистого разума*... Что оставил после себя Культуре Дон Кихот? <...> Он оставил нам... целую религию, то есть целую экономику вечного и божественного, целую надежду на то, что с точки зрения разума является абсурдным» [Унамуно 1996: 295, 297].

В общем, если святая Тереза выше «грешного Канта», а Дон Кихот дает нам «экономику вечного» вместо экономики сиюминутного, то получается, что и упадка-то никакого в Испании нет. А есть особый путь, формально ведущий вниз, к нищете, но реально — вверх, к божественному. Чуть позже Мигеля де Унамуно похожим образом высказался писатель и дипломат Сальвадор де Мадариага, сделавший в своей книге упор на спасении испанской души вместо насыщения испанского тела. По его словам, «испанский народ глубоко привержен мессианизму. В нем присутствует великая надежда... ожидание некоего провиденциального события, которое изменит жизнь самым фундаментальным образом, причем, конечно же, к лучшему. <...> Самое серьезное дело для испанца — пожалуй, единственно серьезное дело — «спасать душу». <...> Основная функция испанской империи вовсе не экономическая и даже не политическая, а духовная» [де Мадариага 2003: 51, 97, 144]. В те же годы примерно то же самое о русских говорил Иван Ильин [Травин 2018а: 69–71].

Взгляды Мигеля де Унамуно и Сальвадора де Мадариаги сформировались, конечно, не на голом месте. Под ними имеется серьезная историческая база, которую эти авторы своеобразно интерпретировали. Еще в XVI веке у кастильцев возникло представление о том, что они являются народом, избранным Господом для великой цели: обратить неверных, искоренить ересь и создать царство Христа на земле. Но через некоторое время возник вопрос: если Кастилия является правой рукой Бога, почему же к концу столетия вдруг пошли неудачи одна за другой — бунт в Нидерландах, гибель «Великой Армады», банкротство казны, голод и эпидемия? Возможно, Господь испытывает своих возлюбленных чад? Значит, надо искоренять роскошь, коррупцию, разврат, лицемерие, обжорство и прочее зло. Надо лечить болезнь, поразившую страну, и вернуть здоровье, которым она обладала во времена благословенного правления Фердинанда и Изабеллы. Надо закрыть театры, запретить фривольные книги и изгнать морисков [Elliott 1977: 46–52].

Экономике и финансам борьба с книгами и морисками (крещеными арабами), впрочем, не помогла. Можно спорить о том, как и когда возникали испанские проблемы, а также о том, насколько самих испанцев

огорчало сложившееся состояние дел¹, но, согласно имеющимся оценкам, в начале XVI века испанский ВВП на душу населения был примерно равен английскому, а в начале XIX столетия уже уступал ему в два раза [Alvarez-Nogal, Prados de la Escosura 2007: 324]. Какие бы споры ни велись о том, является ли испанский упадок просто упадком, или за ним кроется истинное духовное величие нации, не желающей размениваться на мелочи, трудно отрицать сегодня тот факт, что мир, находящийся за Пиренеями, сильно запоздал с модернизацией, хотя, в отличие от России и ряда других «окраинных» стран Европы [Травин 2021: 238–251], имел на заре Нового времени хорошие «стартовые условия». Почему же именно Испанию постигла такая странная судьба?

Черный лебедь XV века

К концу XV века Европа находилась в состоянии равновесия, не обещающего в будущем каких-либо качественных перемен. В тот момент вряд ли можно было представить, что христианский мир когда-нибудь станет развиваться ускоренными темпами и радикально переменится под воздействием каких-то обстоятельств.

Городская экономика развивалась с того времени, когда прекратились набеги викингов, сарацин и мадьяр. В XIV веке нормальный ход развития нарушился в связи со страшной эпидемией чумы, приведшей к огромным человеческим потерям. Но через столетие после этой «черной смерти» города более-менее восстановились, экономика окрепла. Тем не менее в сложившейся хозяйственной системе имелись возмож-

¹ В дискуссиях об упадке Испании есть множество аспектов: кризис империи, кризис военной мощи, кризис национальной экономики, бюджетный кризис, духовный кризис. Соответственно, споры идут не только о сути проблем, но и о правильных понятиях (был ли экономический кризис полным коллапсом или рецессией [Kamen 1981: 181]), о конкретных датах начала определенного кризиса, о том, когда он ударил по разным частям огромной империи, а также о том, в какой степени те или иные кризисные явления были чисто испанскими, а в какой — общеевропейскими. Бесспорно, упадок не накрыл всю страну одновременно, как одеяло [Kamen 1978: 41]. Кастильские и каталонские проблемы выглядят при ближайшем рассмотрении по-разному, так же как проблемы хозяйственные и духовные. Но в этом докладе меня интересует вопрос о запаздывании модернизации [Травин, Маргания 2004: 18–124] Испании, а все остальные вопросы лишь в той мере, в какой они влияют на главный.

ности скорее для медленного расширения городов, чем для тех качественных прорывов, которые через несколько веков изменили мир [Травин 2021].

Во-первых, цеховая экономика не ориентировалась на развитие. В нее были встроены внутренние антистимулы, ограничивающие рост. Если бы в средневековый ремесленный бизнес осуществлялись серьезные инвестиции, они нарушали бы сложившееся равновесие сил внутри цехов и внутри городов в целом. Успешные предприниматели богатели бы, неуспешные разорялись. Но рисковать своим положением в серьезной конкурентной борьбе никто не хотел. Поэтому развитие не поощрялось обществом, заботившимся больше о поддержании безопасности и предотвращении конфликтов, чем о росте богатств и подъеме уровня жизни.

Во-вторых, собственность не была защищена от «наездов». Хотя город более-менее умел поддерживать порядок на своей территории, он вынужден был учитывать давление со стороны своего государства, требовавшего денег для укрепления обороны, или государства соседнего, угрожавшего вторжением и разорением. Кроме того, за крепостными стенами сухопутный разбой и морское пиратство всегда могли настичь торговцев и лишить их части состояния. В итоге предприниматель стремился не столько развивать бизнес, сколько в определенный момент из бизнеса выйти, вложив деньги в землю и титулы, чтобы минимизировать риски.

В-третьих, в среде силовиков доминировало рентоориентированное поведение. Не только государство стремилось получать «причитающиеся ему суммы» с бизнеса. Передвижение товаров по Европе всюду наталкивалось на таможи, желавшие взять пошлину за проезд через узкое место, которое трудно обойти. Примерно так же поступали с чужими купцами и сами города, вводя стапельное право. Подобное поведение не было случайным. Оно составляло часть средневекового образа жизни. До тех пор, пока можно успешно отбирать деньги у других, сама идея ведения бизнеса рассматривалась не как привлекательная цель, а как наименьшее зло.

В-четвертых, любой чужак в этой ситуации оказывался вдвойне незащищенным. Это касалось евреев, еретиков и иноземцев. Более того, каждый клан считал чужаком представителя иного клана даже в том случае, когда они жили в одном городе. Доверие между людьми и возможности для конструктивного сотрудничества в бизнесе ограничивались узкими рамками. А любой проигрыш в политической борьбе или просто

случайное ослаблении позиций оборачивались для проигравших изъятием собственности и изгнанием. Накопление денег вело не столько к развитию бизнеса, сколько к появлению у соседей желания эти деньги отнять.

В-пятых, незащищенность собственности порождала различные формы инвестиций в безопасность и, соответственно, сокращение возможностей инвестиций в развитие. Вместо того чтобы инвестировать деньги в товары, люди, озабоченные своей безопасностью, инвестировали их в крепостные стены, в башни и в арсеналы. В городах богатые семьи вкладывали средства в развитие системы патрон-клиентских отношений, поддерживая родственников, соседей, друзей и т. д. для того, чтобы в кризисной ситуации получить от них силовую поддержку. Подкуп властей, судов и силовиков дополнял выстраивание этих систем безопасности.

В-шестых, наиболее богатые семьи стремились всеми доступными им способами конвертировать деньги во власть и в военную силу. Конечно, это далеко не всегда удавалось, но задача силового господства выглядела в ту эпоху значительно более реальной, чем задача господства финансового. Семейства Медичи и Сфорца установили контроль за Флоренцией и Миланом соответственно. Фуггеры стали кредиторами императора, что подняло их над уровнем рядового бизнеса. Попытки конвертировать деньги во власть предпринимались и в Генуе, но не столь успешно. А во Франции и других странах средства, заработанные в бизнесе, инвестировались в административные должности, что приносило ренту и власть одновременно.

В целом можно сказать, что, какую бы стратегию развития ни брала на вооружение та или иная богатая семья в зависимости от конкретных условий своего существования, общим было стремление конвертировать деньги в безопасность, либо самостоятельно сформировав локальные системы защиты, либо захватив власть, либо встроившись в существующие сословные механизмы. Деньги лишь до определенного момента были инструментом увеличения капитала, развития бизнеса, совершенствования предпринимательства. Затем их использовали в основном для того, чтобы неэкономическими методами удержать достигнутое.

Можно сказать, что сложилась ситуация своеобразного равновесия. Городская культура строилась на рациональном стремлении к созиданию богатства. Но увеличивающееся бюргерское богатство по достижении определенного уровня уходило в иные сферы, такие как поддержание военной активности, аграрный сектор экономики, формирование

бюрократии и структур, обеспечивающих безопасность. Если бы это равновесие не было нарушено каким-то образом, средневековая европейская хозяйственная система вряд ли породила бы технический переворот и добилась быстрого экономического роста. Вряд ли Венеция превратилась бы в Амстердам, Генуя — в Антверпен, а Флоренция — в Лондон. Крупнейшие торгово-финансовые центры Нового времени стали порождением новых обстоятельств. Им очень трудно было бы вырасти из обстоятельств старых.

Похожая ситуация равновесия сложилась и в геополитической сфере. Германским королям так и не удалось восстановить большую империю, хоть сколько-нибудь напоминавшую античную римскую. Столкнувшись с противодействием Святого престола и итальянских городов (гвельфов), а в конечном счете с малой эффективностью феодальной системы построения армии и отсутствием финансовых ресурсов, необходимых для построения армии наемной, короли остались лишь властелинами (причем слабыми) германских земель. Реформация, раскол этих земель на католические и протестантские, а также усиливающееся давление турок с востока еще больше снизили политическую роль империи в Европе.

Папству, в свою очередь, не удалось добиться доминирования в христианском мире, опираясь на власть духовную. Авиньонское пленение фактически устранило Святой престол как крупного политического игрока. В дальнейшем (даже по возвращении в Рим) он оставался, скорее, игроком локальным: участвующим в переделе зон влияния на Апеннинах и в противодействии турецкой экспансии в Средиземноморье.

Таким образом, в конце XV века вопрос о формировании единой Европы давно уже не стоял на повестке дня. Усиление Франции после окончания Столетней войны позволило ей начать активные действия на территории Италии, где она вступила в столкновение с Арагоном, контролировавшим юг полуострова, а впоследствии (после брака Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского) со всей Испанией. Однако в итальянских войнах вопрос об имперском контроле над Европой поначалу никак стоять не мог. Задачи были локальные — контроль над регионом с богатыми городами. Ситуация изменилась, когда на испанском престоле и во главе империи оказался Карл V Габсбург — внук Максимилиана Габсбурга и Фердинанда с Изабеллой одновременно. Однако претензии Карла (и впоследствии его сына Филиппа II) на господство в Европе оставались бы лишь формальностью, если бы одно важное обстоятельство не нарушило внезапно сложившееся равновесие.

Это обстоятельство вполне можно назвать «черным лебедем» в терминологии Насима Талеба [Талеб 2015]. Это было то, чего никто не мог ожидать. То, что совершенно не вытекало из естественного хода дел в Европе, но тем не менее качественно изменило этот ход дел. Речь идет об открытии Америки Колумбом. Или, точнее, не о самом открытии, поскольку знание о существовании новых земель за океаном на европейскую политику никак повлиять не могло. Повлияло всерьез обнаружение за океаном больших запасов благородных металлов, которые сделали Испанию намного богаче, а значит, усилили ее позиции в борьбе за контроль над Европой.

Открытие Америки, как известно, не было запланировано. Но дело здесь не только в том, что Колумб искал Индию. Эта история является непредвиденным последствием ряда других историй. Началось все с того, что португальский принц Энрике (Генрих Мореплыватель) искал золото (а позднее и рабов) на Западном побережье Африки [Сарайва 2007: 123; Томас 2016а: 69]. Это был нормальный для XV века интерес: каждый, кто мог, искал деньги всюду, где только мог. Однако Энрике для своих целей должен был по понятным причинам воспользоваться кораблями. Средневековые корабли ходили обычно вдоль берегов, не отрываясь сильно от тех мест, куда можно при необходимости причалить, чтобы укрыться от шторма, отремонтироваться, спрятаться от пиратов, пополнить запас еды и воды. Кардинальные перемены в мореплавании стали возможны лишь после того, как в 1439–1440 гг. португальцы сильно усовершенствовали каравеллы. Это было связано с трудностями возвращения домой из Гвинеи, когда приходилось идти против ветра и против течения. Удобнее оказалось уйти далеко от берега и описать огромную дугу через Азорские острова [Бродель 2002: 147–148]. Ну а когда появилась каравелла, способная уйти в открытое море, возникла идея поиска нового пути в Индию.

Там, конечно, тоже нужны были в первую очередь богатства, но, возможно, интерес католических королей Испании подстегивался еще и теорией Диего де Валера, который незадолго до инок Филофея, твердившего у нас о Москве как Третьем Риме, писал испанскому монарху о божественном замысле создания огромной империи с заморскими владениями. Мессиянские задачи по большому счету были схожими. И на Востоке Европы, и на Западе христианские мыслители хотели спасти мир, а для этого стремились воздействовать своими идеями на сильных мира сего. В частности, католическая Церковь в XVI веке активно проводила мысль о том, что колонизация осуществляется не ради золота, а в

миссионерских целях. Короля Фердинанда порой уверяли, что именно ему суждено вернуть христианскому миру Иерусалим [Томас 2016а: 84, 347–348; Кеймен 2007: 82]. Поэтому благородная задача миссионерства вполне могла стимулировать и облагораживать стремление найти золото и серебро где-то в неизведанных странах.

Таким образом, можно сказать, что решение четырех отдельных задач дало в совокупности открытие Америки². Стремление монархов разбогатеть стимулировало поиск благородных металлов в дальних краях. Миссионерские задачи Церкви придавали этой затее благопристойный вид. Технические усовершенствования кораблей создали возможность для дальнего плавания. И эта возможность сделала реальной постановку задачи о поиске пути в Индию. Попытки решить каждую из задач по отдельности ни к чему не привели бы. Но случайное сочетание целого комплекса обстоятельств дало открытие Америки с ее богатствами. «Лебедь» оказался не просто черным, а черным-пречерным. Неожиданным во всех смыслах.

Случайностью по большому счету стало и то, что выгоду от открытия, сделанного Колумбом, получила Испания (а могла бы и Португалия!). Но это означало, что в XVI веке благодаря резкому увеличению объема финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении одной из конфликтующих сторон, фактически вновь встал на повестку дня вопрос о том, что кто-то может контролировать тем или иным образом весь христианский мир. Причем, поскольку совокупные силы Испании и Империи в XVI–XVII веках были намного больше сил Гогенштауфенов в Средние века, актуальнее стал вопрос о том, как другие страны могут противостоять агрессии.

Важность доступа к серебру и золоту в XVI веке определялась не субъективным стремлением монархов и конквистадоров к богатству, а объективной потребностью финансирования вооруженных сил. К этому времени в Западной Европе уже невозможно было строить армии по старому феодальному принципу или даже по принципу городского ополчения. Армии стали наемными и в связи с этим сильно нуждались

² Более того, в письме Фердинанду и Изабелле о своем третьем путешествии Колумб отмечал, что, возможно, открыл в Южной Америке земной рай, т. е. место, где первоначально обитали Адам и Ева [Колумб 2010: 409–412]. Аргентинский писатель Абель Поссе высказал в художественной форме предположение, что поиск этого места мог быть дополнительным мотиватором экспедиций для религиозного человека XV века [Поссе 1995], хотя доказать это, конечно, невозможно.

в деньгах. Более того, переход к огнестрельному оружию и новым принципам фортификации, способной противостоять этому огнестрельному оружию, также требовал расширяющегося финансирования. Побеждать в войне XVI века мог только тот, кто был достаточно богат [Травин 2015]. Созыв на службу вассалов или мобилизация простолюдинов уже ничего толком не давали вооруженным силам. Профессиональные армии обрабатывали даже специальные формы построения в бою, а потому люди, не обладающие специальной подготовкой (т. е. не воевавшие постоянно за деньги), никак не могли укреплять боеспособность.

Добыча благородных металлов могла и раньше усиливать европейские армии, но самые богатые месторождения находились в Центральной или даже Восточной Европе — в Гарце, Тироле, Чехии, Венгрии. Как для Испании, так и для Франции — ее соперника на итальянском фронте — роль добычи благородных металлов была вторична в сравнении с налогообложением своего населения и теми богатствами, которые можно было захватить на поле боя. Теперь же так получалось, что одна из конфликтующих в Италии сторон получала непосредственный доступ к заокеанским месторождениям³. И это разрушало сложившееся равновесие сил. Объединяя собственные ресурсы, полученные за счет налогов, с ресурсами заокеанскими, Испания могла привлекать в свою армию все больше и больше наемников. Причем следует отметить, что размеры вооруженных сил XV–XVII веков не ограничивались численностью населения страны. Армии были многонациональны. Из разных мест Европы собирались под испанские или французские знамена люди, не имевшие иных стабильных средств к существованию, помимо торговли своим мечом. И чем больше было средств в бюджете короля, тем больше мечей он мог привлечь. В том числе даже из армии противника, если она вдруг не имела в какой-то момент средств, чтобы регулярно платить жалованье своим наемникам.

Таким образом, «черный лебедь» XV века привел в XVI столетии к резкому нарушению европейского равновесия. Усиление Испании вынудило другие страны (в первую очередь Францию) изыскивать разные

³ Заокеанские поступления Испании представляют собой самый яркий пример решения финансовых проблем государства за счет получения ренты, но в XVI веке были в Европе и иные, не столь масштабные случаи. Например, Дания резко смогла увеличить доходы за счет пошлины, взимаемой с проходящих через пролив Зунд кораблей [van Zanden, Buringh, Bosker 2012: 852]. Рост морской торговли и усиление голландской коммерческой активности объективно способствовали росту ренты того государства, которое могло эту торговлю «отловить» в узком месте.

нестандартные способы укрепления своей обороноспособности. В XVII веке они были найдены. Франция и затем другие страны смогли увеличить налоговое бремя. А для этого они сформировали большой бюрократический аппарат, способный добывать деньги и переправлять их на военные нужды. Более того, впервые сформировалась идея, что государю следует не только воевать, но и поощрять экономику, поскольку от успехов бизнеса зависят налоговые поступления, а от налогов — размеры и мощь армии. Испанский вызов в конечном счете обернулся французским успехом. И французский пример определил магистральный путь развития Европы в XVIII веке [Травин 2019]. Что же касается самой Испании, то она поначалу выглядела для европейцев наиболее соблазнительным примером, но затем резко сдала свои позиции и превратилась на долгое время в неудачника. Если для России проблемой была стабильная, длительная отсталость, то для Испании — быстрый и неожиданный упадок.

Бедность — не порок, но...

Собственными ресурсами Испания похвастаться не могла. Богатых городов и полезных ископаемых там было явно меньше, чем appetитов и амбиций. Основные европейские месторождения золота и серебра находились в Венгрии, Чехии, Тироле и на Балканах. А по уровню урбанизации и, соответственно, по торговле и ремеслам средневековая Испания явно уступала Северной Италии, Нидерландам и некоторым германским регионам. Такое положение дел сохранилось и к началу Нового времени.

Города Испании в XVI веке были весьма различны. Имелись города, населенные в основном чиновниками (Мадрид, Гранада), церковниками (Гвадалахара), торговцами (Бургос, Толедо, Севилья). Случались мануфактурные города (Кордова, Сеговия), а также города аграрные, тесно связанные с окрестными селами и представлявшие собой центр округа (Саламанка, Херес-де-ла-Фронтера). Существовал особый овцеводческий город (Сория). И наконец, было даже несколько военных городов [Бродель 2002: 443–444]. Однако объединяло практически все эти города то, что в них не сложилось господства горожан (бюргеров).

После подавления восстания коммунаров к власти в городах пришли представители идалго — мелкого дворянства. Они занимали все муниципальные посты и проявляли лояльность к короне, поскольку выигры-

вали от ее политики. В известном смысле их выигрыш можно сравнить с выигрышем английских сквайров от реформации Генриха VIII [Davies 1954: 60–61]. С одной стороны, короне легче было договариваться с лояльными идалго, чем с бюргерами, которые имели бы собственный коммерческий интерес, как в Италии, Нидерландах или Германии. Но с другой — от мелкого дворянства трудно было ожидать такой финансовой поддержки, какую давали купцы.

Традиционно испанская финансовая система основывалась на налогах с продаж и таможенных пошлинах. Война с исламом породила новый специальный налог — «крестовый», формировавшийся как часть церковной десятины, дополняемой специальными сборами с епископов и городов. Кроме того, ресурсы давала короне еще и крупная овцеводческая организация Места [Томас 2016а: 41–42]. Некоторые военные операции оплачивали или кредитовали зарубежные бизнесмены — особенно итальянцы [Кеймен 2007: 73–74]. Но сравнительно малонаселенная и экономически не слишком развитая Испания вряд ли смогла бы вести войну с Францией на равных, если бы основывалась лишь на налогах. А ведь в XVI веке Испании приходилось сражаться не только с французами, но и с турками, с немецкими протестантами, с нидерландскими «революционерами» и с английскими моряками, встретившими «Непобедимую Армаду». «Только денег наших королевств, — объяснял Фердинанд в 1509 году, — не хватило бы на содержание армии и флота, достаточных для того, чтобы противостоять такому сильному противнику» [там же: 72].

Когда кастильские кортесы узнали, что Карл V может начать воевать с турками, они заявили о своей готовности отдавать жизни и неготовности отдавать деньги для финансирования кампании. Нехватка денег для осуществления выплат наемникам провоцировала иногда страшные разбойные действия солдат, такие, например, как разграбление Рима в 1527 г. В 1538 г., когда кортесы возразили против введения нового акциза, Карл, владевший чуть ли не половиной Европы, заявил: «Теперь я понимаю, насколько малой властью обладаю» [Томас 2016б: 122, 463–464]. В этой ситуации спасали положение поначалу доходы от Нидерландов и Южной Италии, а к концу правления Карла — колониальные поступления [Кеймен 2007: 93].

Первые рудники возникли уже на Эспаньоле (Гаити) почти сразу после открытия Америки. Там добывали золото. благородного металла было пока немного, но его наличие показало, что овчинка стоит выделки. Выработка увеличивалась со временем, и становилось ясно, что надо

плыть за океан, открывать новые земли и искать в них богатства [Томас 2016а: 230, 251, 301, 339–340].

Появился особый тип частного предпринимателя — конкистадор⁴ [Кеймен 2007: 144]. Этот человек должен был найти финансирование для путешествия (скорее частное, чем государственное)⁵, подобрать «персонал» (моряков и солдат), составить бизнес-план (своеобразную «дорожную карту» завоевания), подавить сопротивление местного населения (как кнутом, так и пряником) и, наконец, найти богатства, способные окупить все эти усилия, позволить расплатиться с финансистами за кредиты, а также с их католическими величествами за «лицензию» на убийства людей и использование богатств чужих земель. Поскольку Церковь определила, что у индейцев есть душа (хотя сначала этот вопрос был спорным), уничтожение и грабеж сопротивляющегося местного населения требовали особой санкции со стороны властей и, следовательно, благодарности им за эту санкцию.

Порой «финансовая политика» испанцев в Латинской Америке представляла собой откровенный разбой, особенно у таких удачливых конкистадоров, как Эрнан Кортес и Франсиско Писарро. Они силой отбирали у индейцев накопленные годами богатства [Иннес 2002: 210, 341; Томас 2016б: 308–311], не принимая во внимание якобы существовавшее у европейцев уважение к частной собственности⁶. Однако чаще доходы при-

⁴ Конкистадор возник на основе частной инициативы вслед за предпринимателем, действующим в сфере коммерции [Травин 2013: 3–31], военным предпринимателем — кондотьером [Травин 2015: 16–32], духовным предпринимателем — проповедником [Травин 2017: 4–24] и государственным предпринимателем, выкраивающим для себя собственную страну [там же: 25–40].

⁵ За экспедицией Эрнана Кортеса стояли капиталы севильских «конверсо», Хименеса де Кесаду финансировали деловые круги Кордовы, Педро де Эредиа спонсировали из Мадрида, Панфило де Нарваеса — из Бургоса, а Педро Фернандес де Луго опирался на средства генуэзских коммерсантов. Даже Вельзеры из Аугсбурга вкладывали средства в конкистадоров [Томас 2018: 249–250].

⁶ Возможность отнимать чужое обосновывалась двумя «аргументами». Во-первых, тем, что новые земли были дарованы европейцам папой, а во-вторых, тем, что война с индейцами является необходимой частью их обращения в христианство [Скиннер 2018: 250]. Получалось, что захват чужой земли таким образом приносит пользу самим же индейцам, поскольку является частью большой христианской операции по спасению их душ. Проблема отъема собственности стояла столь остро, что профессор университета Саламанки Франсиско де Витория даже написал трактат о том, почему нельзя так поступать [Пирсон 2020: 298–303]. Но это, естественно, не помогало.

нимали все же более цивилизованный вид: налогов, взимаемых с населения, и прибыли, получаемой от производства.

Самым распространенным видом организации производства стала энкомьенда. По сути дела, это было крепостное право, но со спецификой, характерной для колонизации. Испанец получал от государства не земельные угодья, а труд и право на продукт труда некоторого числа индейцев⁷. Определенного касика и его людей назначали служить определенному конкистадору (в несколько иной форме энкомьенда существовала уже в старой Испании времен реконкисты, где вместо индейцев были мавры). Новым господам нужны были работники, поскольку, кроме добычи благородных металлов, хороший доход начинало давать плантационное хозяйство — в частности, выращивание сахарного тростника. Согласно требованию Церкви, хозяин должен был защищать своих работников-индейцев от всяких обид, учить грамоте, заставлять одеваться (не ходить голышом) и делать из них хороших христиан. Но на деле, конечно, выходило иначе. Контроля за соблюдением прав человека государство организовать тогда не могло (и вряд ли хотело), поэтому в энкомьенде люди работали почти как рабы, а в случае бегства возвращались хозяину для дальнейшей «христианизации». Формально рабами они при этом не считались. Более того, обращение индейцев в рабство было законом запрещено. Слишком уж не по-христиански это выглядело. Однако в законе вскоре нашлась удобная лазейка. Каннибалов, которые людей кушали и проповедников не слушали, можно было делать рабами, увозя из родных мест на перевоспитание. Вряд ли стоит удивляться, что при таком подходе в Америке обнаруживали большое число каннибалов [Томас 2016а: 216, 271–274, 350–351; Томас 2016б: 52–54, 362, 403].

Похожим на энкомьенду способом организации производственного процесса стала мита, примененная на рудниках Потоси. Здесь принудительные работы индейцев были ограничены по времени. Поскольку местного населения не могло хватить для разраставшегося производства, на шахты сгоняли то одних, то других работников с окрестных территорий [Томас 2018: 259]. Зарплата таких подневольных тружеников составляла лишь половину той, которую получали свободные рабочие. При этом порядка 20 % индейцев откупалось от миты [Сальвуччи 2021: 546].

⁷ В какой-то мере энкомьенду можно сравнить со старой русской системой кормлений, а в какой-то — с турецким тимаром, хотя о точном соответствии говорить нельзя.

По мере того как богатства конкистадоров возрастали, увеличивались и денежные требования короны. Карл V уже в 1524 г. просил Кортеса прислать все золото, какое удастся собрать (помимо причитавшейся короне квинты), в связи с необходимостью покрывать огромные расходы на войну с Францией. Через одиннадцать лет король, испытывавший все большую нужду в деньгах, уже не просил, а приказывал. Зависимость европейской политики от американских богатств становилась все более очевидной. Карл изменил порядок раздела добытых в Америке богатств. Вместо пятой части ему на всех покоряемых новых землях полагалась теперь треть. А для того, чтобы обеспечить стабильность поступлений в казну, Карл преобразовал мексиканские колонии Кортеса, бывшие ранее фактически частным предприятием конкистадора, в вице-королевство, управляемое чиновниками. Вместе с «национализацией» Америки изменилась и вся концепция колонизации. Заокеанские земли превращались в «золотой придаток» Испании, в источник выкачивания ресурсов вместо того, чтобы быть пространством для массового заселения, где европейские колонисты постепенно перемешиваются с индейцами [Дюверже 2005: 170, 226, 238–239, 247]. А при Филиппе II — преемнике Карла V — бюрократизация управления империей еще больше усилилась [Кеймен 2007: 274].

Впоследствии выяснилось, что в североамериканских колониях Англии и Франции условия для переселенцев лучше. Эта «конкуренция» во многом определила будущее США и Канады, с одной стороны, и государств Юга — с другой. В то время как в Северную Америку отправились миллионы переселенцев из разных стран, Латинская Америка была не местом для приложения сил иммигрантов, а скорее пространством для извлечения ресурсов. Как отмечали Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон, возникло расхождение между экстрактивными институтами, нацеленными на выжимание максимального дохода из региона, и инклюзивными, нацеленными на вовлечение больших групп людей в созидательную экономическую деятельность [Аджемоглу, Робинсон 2015: 104–108]. Энкомьенда и сама-то по себе институт экстрактивный, но в ситуации, когда сверху над ней воздвигнуто высасывающее ресурсы государство, хозяйственная система не имела шансов на успех.

Лишь поначалу все шло неплохо. Казалось, что грабежа Америки достаточно для аккумуляции ресурсов, необходимых для установления военного господства над Европой. Во втором десятилетии XVI века доходы от американского золота возросли: помимо Эспаньолы, свой

вклад внесли Куба и Пуэрто-Рико. Потом снова упали в связи с отсутствием стабильных источников поступлений и, наконец, поднялись после того, как Писарро проник в Перу. Но радикальный перелом случился в 1542 г. благодаря открытию богатейшего месторождения серебра в Потоси (Боливия). В эпоху Филиппа II испанская казна богатела именно за счет поставок этого металла, а не золота [Томас 2016а: 485; Томас 2016б: 141, 318; Томас 2018: 258–259].

Важнейшую роль в ведении бизнеса с Америкой сыграли два европейских города — Севилья и Генуя⁸. Все корабли должны были приплывать в Севилью, чтобы государству стало легче осуществлять контроль за богатствами и чтобы деньги конкистадоров не проплывали мимо казны. Именно в Севилье находилась Каса-де-Контратасьон-де-Индиас, собиравшая королевскую долю и отправлявшая благородные металлы на переплавку в монеты [Томас 2016а: 268–270]. Позднее, по мере расширения колонизации, лицензия на ведение дел с Новым Светом стала выдаваться всем подданным испанского короля (и отплывать можно было из разных портов), но сохранилась ведущая роль Севильи, куда прибывала основная масса кораблей. Население города возросло вдвое за первую половину XVI века [Томас 2016б: 143, 258, 265, 271]. «Один из наблюдателей писал о своем изумлении при виде того, как разгружали подошедший флот. За один только день он увидел 332 телеги, полные серебра, золота и драгоценных жемчужин, которые должны были быть учтены. Через шесть недель он увидел еще 686 телег драгоценных металлов. Их было так много, писал он, что “склады не могли вместить все, и часть вываливалась во двор”» [Франкопан 2021: 301].

Но финансовое обслуживание Испании осуществляла не Севилья, а Генуя, предоставляя королю кредиты в тот момент, когда американские богатства были еще в пути или даже находились в земле. Генуэзцы победили соперников в сложной конкурентной борьбе. Первый крупный кредит Карл V получил от Якоба Фуггера из Аугсбурга в 1519 г. — в тот момент, когда ему нужны были деньги на подкуп курфюрстов, выбиравших нового императора [Томас 2016а: 482–484]. В 1520-е гг. он кредитовался еще и у торговой династии Вельзеров из Аугсбурга, и у кастильцев из Севильи. Но постепенно наибольшее значение стала играть Генуя. Итальянцы предоставили Карлу больше кредитов, чем немцы и тем бо-

⁸ Иногда выделяют еще особую роль Бургоса и баскских капиталов в финансировании заокеанских проектов [Томас 2018: 260–261].

лее испанцы. Впрочем, со временем генуэзцы уступили свое место ведущего кредитора Испании португальским маранам [Томас 2016б: 194–195; Кеймен 2007: 131, 136–137, 559].

Долг королевской казны постоянно нарастал. Он составлял 80 млн дукатов в 1581 г., 112 млн — в 1623 г. и 18 млн в 1667 г. [Flynn 1982: 143]. Предоставляли кредиты генуэзцы (особенно представители богатых семей Чентурионе и Гримальди) не только монарху, но и частным предпринимателям — капитанам и торговцам, направлявшимся в Индии [Pike 1962: 357–359, 371–375; Томас 2016а: 472]. Генуя была независимым государством, функционировавшим так, «как будто являлась частью Испанской империи» [Кеймен 2007: 108]. По оценке Броделя, она стала первой финансовой столицей мира благодаря союзу с Испанией, заключенному в 1528 г., и посредничеству в торговле Севильи с Новым Светом [Бродель 2002: 440, 467]. А Джованни Арриги назвал Геную колыбелью современного финансового капитализма [Арриги 2006: 165–166]. Конечно, подобный финансовый феномен не был бы возможен без заокеанского серебра, служившего для кредиторов гарантией (хотя бы относительной) того, что с ними расплатятся.

Но в начале XVII века запасы американского серебра начали истощаться, и поставки снизились. Если принять во внимание еще и снижение покупательной способности денег, вызванное инфляцией, то возможности испанской казны оказались к середине XVII столетия даже ниже, чем были в XVI веке при сопоставимых объемах серебра [Flynn 1982: 142]. С конца XVI столетия Филипп II стал делать все больший акцент на налоги, взимаемые с несчастных городов Кастилии, для компенсации утрачиваемых доходов [Jago 1981: 312–320]. Однако возможность взимать налоги, в свою очередь, зависела от американских богатств — от той их доли, которая попадала в карманы частных лиц, связанных с колониями, и затем растекалась по всей стране, переходя в руки большого числа налогоплательщиков — купцов, банкиров, ремесленников и даже крестьян. Богатая Америка формировала богатую Кастилию, а когда Америка истощилась, серьезно снизились и фискальные возможности Мадрида. В конце XVII века венецианский посланник писал: «От Росаса до Кадиса нет ни одного замка или форта, имеющего гарнизон... Подобное же опустошение — в портах Бискайского залива и Галисии. На складах отсутствуют боеприпасы. Арсеналы и лавки пусты. Искусство строительства судов забыто» [цит. по Камен 1964: 64].

Конкистадоры Востока

Однажды Наполеон, узнав, что в Москве сорок сороков церквей, удивленно спросил, почему их так много, когда никто уже не верует. Ему ответили, что русские и испанцы сохранили свое благочестие. Комментируя эту историю, мадам де Сталь назвала москвичей кастильцами Севера [1812. Баронесса де Сталь... 1991: 23]. С тех пор подобные параллели проводились неоднократно. Например, американский историк Джеймс Биллингтон заметил, что «подобно Испании Московия оказалась на пути чужеземных вторжений в христианский мир и в борьбе с захватчиками обрела национальную самобытность. Так же, как и в Испании, в России военные действия освящала церковь. Фанатизм, порожденный слиянием политической и религиозной власти, превратил обе страны в непреклонных ревнителей исповедуемых ими ветвей христианства. <...> Русские современники всегда находились под обаянием испанской страстности и непосредственности, видя в этом духовную альтернативу бездушной чопорности Западной Европы» [Биллингтон 2001: 101–102]. Позднее об этом же написал другой американский историк Майкл Ходарковский [Ходарковский 2019: 10]. Наблюдение Биллингтона совершенно верно, и, если бросить беглый взгляд на судьбу России и Испании, возникает соблазн объяснить отсталость обеих стран одними и теми же причинами. Однако внимательное рассмотрение конкретного исторического пути приведет, скорее, к иным выводам.

Реконкиста кастильская и «реконкиста» московская сформировали институты, удобные для все более глубокого проникновения на колонизируемые территории. «Казанское ханство, некое подобие королевства Гранада, разбогатевшее благодаря доходам от караванной торговли, на которые давно зарились русские, перешло к ним в руки, будучи уже наполовину разоренным вследствие не совсем понятных причин, возможно связанных с иссяканием туркестанского шелкового пути» [Бродель 2002: 153–154]. А вслед за Гранадой и Казанью простирались уже далекие, неосвоенные земли. У Кастилии — за океаном, а у Москвы — за Волгой. Технически процесс колонизации был, конечно, различен (в одном случае для нее нужен был флот, в другом — нет), но в политическом плане все было похоже. Сильная в военном отношении держава покоряла относительно слабые народы. Поэтому можно сказать, что в XVI–XVII веках Россия развивалась по испанскому пути, хотя, конечно, нельзя говорить ни о каком сознательном выборе. Он был фактически

предопределен географически наличием на востоке просторов, которые никто иной не оспаривал⁹.

Впрочем, в процессе покорения выявились принципиальные экономические различия, и они обусловили различие исторических путей. Россия не смогла получить от колоний то, что получила Испания, и в результате вынуждена была свернуть с испанского пути на французский. Хотя Строгановы нашли на реке Сосьве серебряную руду и в 1574 г. получили грамоту на разработку месторождения, в целом доход от добычи в Сибири благородных металлов оказался мал. Огромные пространства, освоенные российскими казаками, не дали того эффекта, который получился в результате путешествий конкистадоров по Америке. Слухи о «сибирском Эльдорадо» стимулировали порой продвигаться все дальше (атаман Колесников дошел аж до устья Ангары и там узнал, что легендарное серебро привозят из Китая), но реально крупные месторождения (золота на Урале и серебра на Алтае) были обнаружены лишь в середине XVIII века [Любавский 1996: 442, 448, 452, 468].

Главным богатством Сибири была пушнина — «мягкое золото». Именно на это сходство с Испанией обратил внимание, в отличие от Джеймса Биллингтона, другой американский историк Уильям Мак-Нил: «Русские (благодаря сибирской пушнине) и испанцы (благодаря американскому серебру) стали строителями империй, удивительным образом выигравшими от своего пограничного географического расположения в XVI–XVII вв.» [Мак-Нил 2008: 131].

В 1555 г. послы хана Едигера просили Ивана Грозного принять и оборонять землю сибирскую в связи с появлением внешней угрозы. И предлагали за покровительство дань «со всякого черного человека по соболю,

⁹ Русский историк Матвей Любавский полагал, что «казацкие экспедиции в Восточную Сибирь предпринимались в сущности для грабежа» и лишь «там, где грабить было трудно, казаки старались завязать торговые сношения с туземцами и таким образом извлекать для себя прибыль от своих экспедиций» [Любавский 1996: 447]. В отличие от него Майкл Ходарковский считает, что «Россия, вынужденная реагировать на угрозу, исходящую от обществ, организованных для набегов, также превратилась в общество, заточенное под непрерывную войну. <...> Вплоть до XVIII века двигателем российской экспансии в южном направлении были стратегические и политико-богословские соображения» [Ходарковский 2019: 316, 321]. Но что бы ни лежало в основе колониальной политики — собственное стремление пограбить или стремление защититься от грабежа со стороны соседей, — трудно представить себе Россию, удержавшуюся в XVI–XVII веках от продвижения на Юг и Восток.

да даруге (данщику) государеву... по белке с человека по сибирской». Это обещало царской казне 30 тыс. соболей в год [Скрынников 1989: 436–437]. Так Россия начала втягиваться в колонизацию Сибири. Позднее сибирский поход Ермака за военной добычей тоже обернулся мехами. В руки казаков попало «много всякой “рухляди”, горы драгоценных соболей шкур» (курсив в оригинале. — Д. Т.) [там же: 539]. Становилось ясно, что это богатство можно монетизировать. Казаки стали двигаться все дальше, вглубь новых территорий, находили новые племена, брали у них меха, ставили поблизости острожек, оставляли в нем часть людей и устремлялись в поисках богатств дальше [Любавский 1996: 447].

За казаками шли данщики. Уже в 1570-х гг. они получали задание брать по соболу с человека там, где это возможно [Вершинин 2018: 62]. А когда Россия при Федоре Иоанновиче утвердилась в Сибири и прислала наместника, чтобы обложить ясаком весь обширный край, государственный план поступлений «рухляди» составлял 200 тыс. соболей в год [Скрынников 1989: 607]. В целом эта история напоминала колонизацию Америки: сначала прорыв конкистадоров (казаков), идущих вглубь неосвоенных территорий на свой страх и риск, затем сбор дани и, наконец (когда стало ясно, что в новых землях имеются богатства), утверждение государства в лице вице-короля (наместника). «Как верно заметил Ф. Г. Сафонов, соболь сыграл примерно ту же роль, что и золото в открытии Индии, Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америки» [цит. по Дмитриева, Козлов 2020: 210].

«Со всей Сибири ясак поступал в Тобольский Кремль, где сортировался, оценивался и санными караванами перевозился в Московский Кремль» [Эткинд 2014: 118]. Государство стремилось выкачать из Сибири как можно больше ресурсов. Кроме ясака, российские власти стали получать от аборигенов поминки — добровольное приношение, ставшее в конечном счете добровольно-принудительным. А если для получения ясака не хватало соболей, налог брали другими «зверьями» — лисами, волками, выдрами, рысями и росомахами. Десять белок засчитывалось за одного соболя, два соболя — за одну чернобурую лисицу [Дмитриева, Козлов 2020: 203–204].

Меха традиционно являлись важнейшей статьёй экспорта Новгорода и других городов, торговавших с Ганзой. Неудивительно, что ставка на выручку от мехов, а не на покорение земель как таковых, была сделана и Москвой в XVI веке [Любавский 1996: 438]. Однако доходность пушного бизнеса не шла ни в какое сравнение с доходностью шахт в Потоси и других американских предприятий Испании. Создать эффективную

наемную армию западноевропейского типа на пушные доходы не удавалось. Если испанские наемники в XVI — первой половине XVII в. были столь сильны, что сражались за европейское господство своей державы, то московская армия формировалась на основе поместной службы за землю [Травин 2015]. По имеющимся современным оценкам, доля Сибири в бюджете страны, вообще-то, была незначительна — менее 5 %¹⁰. А кроме того, к середине XVII века у нас был достигнут максимум добычи соболей, и дальше наметился спад. К концу столетия зверь оказался выбит даже в отдаленных районах Сибири [Дмитриева, Козлов 2020: 208–209, 216]. «В начале XVII века хороший зверолов мог добыть 200 соболей в год, а к концу того же столетия — всего 15–20, что делало промысел невыгодным... По всей Сибири охотники, промышленники, возчики пушнины искали новые способы существования [Эткинд 2014: 125–126].

Как раз к тому времени, когда Петр вступил в борьбу со Швецией и нуждался в ресурсах для армии, основной ресурс «испанского типа» был исчерпан. «Испанская модель» приказала долго жить, и стал в полной мере происходить переход на «французскую», предполагающую максимально возможный сбор налогов со всего населения страны и создание бюрократии [Травин 2019]. И в этом смысле освоение Сибири напоминает не освоение Латинской Америки, а, как справедливо отмечает Александр Эткинд, освоение французской Канады [Эткинд 2014: 116]. И в том и в другом случае меха не стали основой военно-имперского развития.

Незначительность доходов бюджета была, помимо общей нехватки «рухляди», связана, возможно, и с отсутствием точной информации о доходах плательщиков. Поэтому методы сбора ясака были специфическими. Например, когда в Пустозерске бывал съезд, на котором местные жители выменивали нужные им товары на меха, «данщик вместе с выборными целовальниками взимал “явочных соболей” с ненцев, приехавших торговать» [Вершинин 2018: 64]. То есть представители государства знали о платежеспособности населения лишь то, что сами налогоплательщики готовы были им показать. В итоге торг относительно того, сколько и как платить государю, становился нормальным явлением

¹⁰ Оценки Любавского, сделанные сто лет назад, были значительно более оптимистичны в отношении меховых богатств. Он считал, что при Алексее Михайловиче доходы от «рухляди» превышали четверть всех государственных доходов [Любавский 1996: 448].

в Сибири. Ясак сильно различался в зависимости от региона [Павлов 1974: 386–389]. При этом проверить честность людей, которые брали ясак, было так же невозможно, как и платежеспособность местных народов. Они запросто могли подменить хорошие меха плохими при отправке налога в казну и сильно нажиться на этом [Дмитриева, Козлов 2020: 206]. Более того, меха вообще часто шли на рынок мимо государственной казны. В 1639 г. царь с огорчением писал тобольскому воеводе, что в казне «мягкой рухляди» нет, тогда как у торговых людей — соболя и лисицы из Сибири [Павлов 1974: 12].

Само понимание того, что считать соболем, лисицей или белкой, было расплывчатым. Остяки, например, сдавали меха без лап и хвостов в соответствии со своими традициями. И просили русских не рушить их вековые «скрепы». Воеводы же предпочитали «модерн» всяким местным традициям, полагая, что для наполнения государственной казны лапы и хвосты тоже подходят [Вершинин 2018: 299–301].

Самым надежным способом «налогового администрирования» считался захват аманатов (заложников). Желательно глав отдельных родов или их близких родственников. Система «кнута», впрочем, сочеталась с системой «пряника»: тем, кто хорошо платил, ставили угощение с «горячим вином» и давали «государево жалованье» продуктами, топорами, ножами, веревками и «оловом барабанским» (т. е. брабантским — блюдами и тарелками). Но если обнаруживалось, что, скажем, «белка неведомо куды сошла», то ни винные соблазны, ни прелести «барабанские» не могли уже обеспечить собираемость налогов [там же: 392, 395, 400].

Даже энкомьенду в Сибири невозможно было бы устроить, появьсь вдруг у кого-то подобное желание. Климат не позволяет выращивать там культуры, которые были важны для той эпохи, — сахар и табак. Продвижение за Волгу дало в среднесрочной перспективе лишь один результат — железорудные месторождения Урала, которые принесли большую пользу при создании армии Петра I. Однако освоение данных месторождений ничего общего уже не имело с испанским путем. При производстве железа Россия, скорее, копировала Швецию, причем обем этим странам свой металл и свое оружие лишь помогали успешнее идти по французскому пути.

В конечном счете российская экспансия стала определяться преимущественно стратегическими и внешнеполитическими, а не экономическими соображениями. При этом для крестьян-мигрантов значим был культурный аспект. Они искали возможность «жить по старине», уходя

подальше от не нравившихся им перемен, или даже бежали на новые земли в поисках рая на земле [Миронов 2014: 105–108].

Итак, подводя промежуточный итог, можно сказать, что с Испанией Россию сближало то, что обе державы какое-то время богатели за счет природных ресурсов, но уперлись в проблему их исчерпания. Отличало же то, что Испания на этом пути смогла временно стать сильнейшей державой Европы, тогда как наша страна не имела возможности даже временно конвертировать природные ресурсы в имперское могущество. То, что Россия не смогла пойти испанским путем, в конечном счете было неплохо. На этом пути отсталость точно преодолеть бы не удалось. Испанская модель могла бы при наличии ресурсов временно усилить Россию в ее борьбе с соседями, но в результате привела бы к упадку. Как и Испанию.

Что ведет к упадку

Какие же проблемы могли повлиять в долгосрочном плане на развитие Испании и, в частности, на экономическое развитие, без которого невозможно было длительное время оставаться одной из ведущих европейских держав? Наверное, проблема упадка Испании является одной из наиболее дискуссионных в истории как таковой и в исторической социологии. Во всяком случае, мнений на этот счет высказывается не меньше, чем на тему российской отсталости.

Фернан Бродель в свое время отметил, что «драма Средиземноморья... одна из причин его консерватизма и застылости состоит в том, что новые земли оставались под контролем богачей» [Бродель 2002: 84]. С этим, пожалуй, трудно согласиться, и великий историк в данном случае не приводит, увы, великих аргументов. Для сравнения отметим, что сосредоточение земель в руках английских лендлордов (огораживание) и прусских юнкеров привело не к застылости, а к трансформации структуры экономики и росту ее эффективности. В первом случае — к специализации Англии на производстве шерсти, во втором — к специализации Восточной Пруссии на зерноводстве. Концентрация земель в Англии и Пруссии вытесняла население из деревни в город, что формировало одно из важнейших условий промышленной революции. Можно спорить о социальных последствиях этих трансформаций, но, как бы мы к ним ни относились, это точно не консерватизм средиземноморского типа.

Столь же сомнительно и другое «марксистское» объяснение Броделя, сводящееся к тому, что генуэзские капиталисты помешали становлению местного капитализма [там же: 468]. В книгах этого же великого историка есть множество примеров того, как итальянские купцы обоглаживались в самых разных городах и странах Европы, но при этом не высасывали из них соки, а, наоборот, способствовали развитию. По-видимому, что-то было такое в Испании, что стимулировало генуэзцев выводить оттуда заработанные деньги, а не инвестировать в развитие экономики.

Впрочем, Бродель всегда дает свои объяснения «между делом», не сосредотачивая на них внимание читателя и как бы даже на них не настаивая. Он все же остается, скорее, историком, создавшим для нас потрясающую общую картину Европы XV–XVIII веков, чем историческим социологом, стремящимся делать выводы из этой картины. За фундаментальными выводами лучше обратиться к иным авторам.

Американский политолог Роберт Патнэм дал объяснение проблем Южной Италии, которые в известной степени можно, наверное, отнести и к Испании, долгое время этим регионом управлявшей. Патнэм показал, что если в североитальянских городах еще в Средние века развивалась гражданская культура, то на юге (добавим от себя — и в Испании) ее не было [Патнэм 1996: 151–170]. Это, конечно, верно, но ведь в Новое время ряд регионов Европы, где гражданская активность раньше была не столь уж заметна, быстро обогнал в экономическом и политическом плане Северную Италию. А юг Италии наряду с Испанией не прогрессировал. Таким образом, объяснение Патнэма недостаточно. Чтобы получить объяснения, нам надо изучить события, происходившие не столько в Средние века, сколько в Новое время.

Свои три причины упадка Испании предложил знаменитый американский историк Пол Кеннеди, анализирувавший причины взлета и падения великих держав. Причем он, в отличие от Броделя, сосредоточил внимание на событиях Нового времени.

Во-первых, Кеннеди отметил «военно-техническую революцию, охватившую Европу в эпоху раннего Нового времени» [Кеннеди 2018: 84]. Она, бесспорно, сделала войну значительно дороже, и Испания надорвалась. Но возникает вопрос: почему же некоторые другие европейские державы смогли адаптировать свои финансы к новым запросам армии, а Испания, имевшая фору, так и не смогла это сделать?

Во-вторых, «Габсбургам приходилось одновременно разрешать большое количество проблем, воевать с множеством врагов и думать об

обороне сразу на нескольких фронтах» [там же: 90]. И это верно. Но многочисленность фронтов объясняет лишь то, почему Испания не стала хозяином Европы, и не объясняет, почему эта страна постепенно скатилась в число второразрядных держав.

В-третьих, «испанские правители были не в состоянии эффективно мобилизовать все доступные им ресурсы» [там же: 95]. Разные регионы империи были нагружены в разной степени. Кастилия больше. Арагон, Каталония и Валенсия меньше. Они имели возможность сопротивляться давлению короны через систему сословного представительства. А кроме того, в разных частях Европы подданные испанского монарха по-разному смотрели на необходимость ведения войн. Если им надо было защищать себя, они готовы были платить. Если же жителей других регионов — то не готовы. Следует признать, конечно, что это все сильно мешало эффективному функционированию империи. Но почему же именно в Испании, а, скажем, не во Франции централизация финансов столкнулась с такими трудностями?

Рассмотрим следующее объяснение. Вполне возможно, негативное воздействие на Испанию оказало государственное регулирование рынка. Так, например, в 1503 г. там был впервые введен предельный уровень цен на зерно, а после 1539 г. данная форма регулирования рынка стала постоянной. На фоне высокой инфляции это государственное вмешательство стимулировало крестьян отказываться от производства хлеба и переходить к выращиванию других сельскохозяйственных культур — маслин и винограда, не подвергавшихся подобному регулированию. В результате Испания все больше попадала в зависимость от импорта зерна [Ведюшкин, Попова 2012: 490; Elliott 1961: 63]¹¹. Трудно сказать, плоха ли была такая специализация, но точно известно, что государственный контроль за хлебным рынком был широко распространен в итальянских городах XVI века [Бродель 2002: 450–452]. Характерен он был и для Франции вплоть до XVIII столетия [Травин, Маргания 2004: 146–149]. Регулирование, конечно, мешало развитию экономики и породило, в частности, реформы Тюрго, стремившегося к либерализации

¹¹ Другой пример госрегулирования — принудительные военные закупки «излишков продовольствия» у населения, которые осуществлялись по низким фиксированным ценам, а если у государства не было в этот момент денег, то в долг. Комиссаром по таким закупкам некоторое время работал Мигель де Сервантес Сааведра. Деятельность комиссаров оставляла большой простор для произвола при решении вопроса, сколько забирать продукции и у кого конкретно [Красноглазов 2003: 149–155].

рынка. Но Франция при этом развивалась все же значительно лучше Испании. Так что феноменальный испанский упадок одним лишь госрегулированием не объяснить.

Иногда говорят, впрочем, что успешное развитие происходит как раз благодаря госрегулированию — точнее, благодаря протекционизму, который был весьма характерен для Англии и Франции. Проблемы Испании, соответственно, объясняют его отсутствием. В частности, тем, что ставка (в отличие от Англии и Франции) была сделана на экспорт сырой шерсти в интересах влиятельных кругов, связанных с Местой, тогда как требовалось такой экспорт запрещать и стремиться к вывозу готовой продукции [Понеделко 1991: 13–14]. Похожим образом объясняются порой и проблемы Португалии, специализировавшейся на экспорте вина. В этой стране англичане, помогавшие португальцам бороться с испанцами, начали вести себя с середины XVII века как в своих заморских владениях, а не как в суверенном королевстве. Они добились, например, того, что обмен английских товаров на портвейн не был равноправным [Добронравин 2017: 30–31].

Проблема с таким объяснением испанских и португальских неудач, однако, состоит в том, что не существует серьезных доказательств эффективности протекционизма. Успех Англии, скорее, связан с тем, что конкурентоспособный отечественный бизнес сам готов был перерабатывать шерсть и торговать за рубежом тканями, а не с тем, что государство запрещало экспорт сырья. Сомнительно то, что его вообще удалось бы запретить, если бы торговать сырой шерстью было бы выгоднее, чем готовой продукцией [Травин 2018б: 27–29]. Поэтому проблема остается: что помешало возникнуть в Испании такому бизнесу, какой сформировался в Англии, хотя сырьевая база для него имела и рынки сбыта находились поблизости?

Иногда отмечают, что Испания в целом плохо управлялась. Монархи не соизмеряли доходы с расходами (особенно военными). Большие деньги проходили «мимо королевского кармана» благодаря пиратским нападениям на флот, перевозящий серебро из Америки в Европу, и из-за контрабанды [Brown 1928: 178–189]. Средств в казне не хватало, что приводило к порче монеты и монетарному хаосу [Hamilton 1943]. И в итоге дело кончилось тем, что «невыносимое налоговое бремя в конце XVI и в XVII столетии оказалось важнейшим фактором упадка» [Hamilton 1938: 175]. Объяснение это верно, но оно все же недостаточно, как и некоторые другие. Излишнее фискальное давление, конечно, плохо влияет на экономику, но вряд ли может объяснить общий упадок Испа-

нии на фоне Франции, где начиная с эпохи Ришелье сильно поднимались налоги [Травин 2019: 23–26]. В Кастилии и Нидерландах фискальное бремя было действительно очень тяжелым [Flynn 1982: 145–146], но некоторые другие части испанской державы сохраняли налоговые привилегии и, казалось бы, могли неплохо развиваться. Тем не менее «недогруженные» Арагон и Валенсия развивались значительно хуже, чем Фландрия и Брабант, переобремененные различными платежами в бюджет.

Возможно, проблемой оказалось так называемое ресурсное проклятие, временное изобилие драгоценных металлов. Серебро не только не вовремя кончилось, оставив имперские амбиции Испании без подпитки, но — что гораздо важнее — породило неэффективную экономику. Эта тема стала популярной в России, поскольку наша страна в данном смысле на Испанию похожа [Гайдар 2006: 82–88; Мовчан, Митров 2020: 113–122]. Испанский король «является лишь очень богатым человеком в очень бедном государстве», — писал Шарль де Монтескье [Монтескье 1955: 480].

«Бедность Испании из-за открытия Индий произошла», — говорили сами испанцы уже в 1619 г. Значительный приток серебра из Америки увеличивал денежную массу, что, в свою очередь, вызывало инфляцию (цены росли на 2–8 % в год в первой половине XVI столетия, а во второй — на 1–3 %) и повышало уровень номинальных доходов населения. Высокая номинальная зарплата увеличивала издержки производства в сравнении с издержками на аналогичные товары, изготавливаемые в соседних странах. Некоторые производства в Испании вообще исчезали, некоторые сворачивались. Если в середине XVI столетия производство шерстяных тканей в Кастилии расширялось благодаря росту платежеспособного спроса, то к концу века испанское сукно стало неконкурентоспособно. И это при том, что именно в Кастилии паслись тучные стада мериносов — лучших европейских овец по качеству шерсти. Бургос, Толедо и Сеговия находились в тяжелейшем состоянии из-за падения производства. Если до 1570-х гг. Кастилия по уровню урбанизации обгоняла Францию и Англию, то в XVII веке численность городского населения сокращалась, поскольку люди искали иные виды заработка вместо ремесла и торговли. Под давлением городов, особенно таких как Толедо, Сеговия, Гранада и Мурсия, власти пытались запрещать вывоз сырой кастильской шерсти за рубеж, чтобы снизить цены, а значит, и издержки. Но на практике они не осуществляли нормальный контроль за выполнением своих решений [Кеймен 2007: 223, 513; Ведюшкин, Попо-

ва 2012: 492; Hamilton 1938: 170–171; Elliott 1961: 61; Israel 1981: 173–178]. По всей видимости, давление аграриев оказалось сильнее давления городов, а контролеры оказались слабее контрабандистов, что, кстати, демонстрирует нам, каковы были бы возможности английского протекционизма, если бы в Англии сложились условия, похожие на испанские, и экспортировать ткани было бы невыгодно.

Сворачивание бизнеса вело к росту нищеты. Например, сравнение Вальядолида с таким расположенным неподалеку коммерческим центром, как Медина-дель-Кампо, показывает, что в конце XVI века количество людей, принудительно отправляемых на галеры (косвенно свидетельствующее о масштабах нищеты и бродяжничества), в Вальядолиде было в 5,5 раза больше, хотя численность его населения превышала численность Медины лишь в три раза. В Сеговии, где, несмотря на кризис, производство тканей все же худо-бедно сохранялось, криминала было на четверть меньше, чем в Толедо [Thompson 1968: 250, 260]. «Золото и серебро Америки... превратили нас... в фанфаронов, лентяев и лежебок. Другими словами, мы стали солдатами, монахами и плутами, а не работягами» [Перес-Реверте 2021: 125].

Неконкурентоспособность испанских производителей приводила к оттоку капитала в страны, где деньги нормально работали. Средства из Испании выводили солдаты, получавшие за рубежом жалованье, купцы, удовлетворявшие испанский спрос на товары, кредиторы, обслуживавшие международные финансовые потоки, и даже 65 тыс. французских «гастарбайтеров» (в 1680 г.), выполнявших на полуострове разного рода работы, в том числе самые примитивные — сельскохозяйственные. В общем, деньги оседали в Италии, Франции и Нидерландах, но только не в Испании [Кеймен 2007: 408–415, 598–600; Kamen 1964: 68–70].

Итак, можно прийти к выводу, что ресурсное проклятие и впрямь долгое время мешало развитию. Однако по мере исчерпания колониальных богатств ресурсное проклятие, скорее всего, исчезло бы. Во второй половине XVII века американское серебро все больше оставалось за океаном. В постепенно беднеющей Испании производственные издержки должны были снижаться, и это теоретически могло бы восстановить конкурентоспособность экономики. Здесь, однако, следует принять во внимание важный неэкономический фактор, воздействовавший на хозяйство.

Пока Испания была богата и боролась с соседями за мировое господство, государство поддерживало высокий спрос на солдат. Испанская пехота считалась лучшей в Европе. Слабость экономики способствовала

«деструктивной структурной перестройке». Молодые люди «перековывали орала на мечи» и отправлялись сражаться. Тем более что это соответствовало старым традициям. В Испании со времен реконкисты значительная часть населения гораздо лучше владела мечом, чем разными орудиями производства. Косвенным образом об этом свидетельствует одна из высочайших в Европе долей дворянства в общей массе населения¹²: 10,2 % в 1591 г. в отличие от 1–2 %, характерных для Франции. Лишь беднейшее дворянство (идальго) готово было порой трудиться. Аристократия (гранды) и средний дворянский слой (кабальеро) в экономику не шли практически ни при каких обстоятельствах, поскольку это было непрестижно. В Испании, в отличие от Англии, так и не появилось слоя предприимчивых дворян-джентри, готовых для заработка «перековывать мечи на орала» [Ведюшкин, Попова 2012: 494–497, 580]. Зато на Пиренейском полуострове (в Португалии) появились поговорки типа «Работа хороша для черных» или «У кого нет крестных, умирает мавром» [Сарайва 2007: 178].

Испания, Португалия, Южная Италия попали в своеобразную ловушку модернизации, когда действия, казавшиеся оптимальными в один момент времени (наращивание военного могущества), создали проблемы (экономическая эффективность) в другой. Конечно, такого рода культурные факторы упадка, как нежелание и неумение работать, развившееся у значительной части населения, не являются фатальными и со временем преодолеваются. Экономическое возрождение Испании действительно через некоторое время началось. Но случилось это лишь в конце XVIII века. Поэтому возрождение не смогло устранить возникшее ранее отставание от других, динамично развивавшихся европейских стран [Alvarez-Nogal, Prados de la Escosura 2013: 20].

Если говорить о культурных факторах упадка, то слабости в развитии экономики католического мира часто связывают с изгнанием протестантов. На Францию действительно негативное влияние оказала отмена Людовиком XIV Нантского эдикта. Но к югу от Пиренеев протестантизм толком даже развиваться не мог из-за бдительности инквизиции. «Вместо Бога, которого отличало ясное видение будущего с широкой дорогой к процветанию, культуре, труду и торговле — то есть всего того, чем занялись страны севера и чем они заняты по сей день, — пишет Перес-

¹² «Даже сапожники и портные прикидываются старыми христианами и разгуливают со шпагой на поясе», — отмечал испанский писатель Франсиско Кеведо [цит. по Перес-Реверте 2021: 134].

Реверте, не боясь оскорбить чувства верующих, — мы, испанцы, выбрали другого — пропахшего ризницей, фанатичного и темного реакционера, от которого в некотором смысле страдаем и по сей день. Выбрали того, кто, насаждая покорность с кафедр и в исповедальнях, погрузил нас в отсталость, варварство и леность. Того, кто четыре последующих столетия снабжал предложениями и святой водой всех тех, кто, рядясь в роскошные одеяния, преследовал умы, плодил эшафоты, заваливал мертвыми телами кюветы и погосты, сделав свободу невозможной» [Перес-Реверте 2021: 108].

Если с протестантами даже выбора не было, то с морисками выбор был. Они адаптировались к жизни среди христиан, но через сто с лишним лет после реконкисты (в 1609 г.) их вдруг изгнали. «Так как при стрельбе себе в ногу испанцам всегда кажется, что маловато будет, вишенки на торте явно не хватало. И вишенкой стало изгнание морисков. <...> Это были непревзойденные земледельцы, умелые ремесленники и вообще народ трудолюбивый, креативный и неприхотливый, они создавали богатства, где бы ни находились. И это, понятное дело, возбуждало в простонародье зависть и ненависть. “Чего это они высовываются, эти мусульманские трудяги-говноеды?” — говорили они» [Перес-Реверте 2021: 131].

По некоторым оценкам, это жестокое, хотя, казалось бы, частное, событие имело катастрофические последствия для будущего развития страны¹³. В то время как христиане стремились воевать, мориски посвящали себя экономике. Ряд авторов писали, что начало падения испанской промышленности относится именно к 1609 г. Другие отмечали, что после изгнания морисков наполовину снизилась доходность церковных и дворянских земель, поскольку некому было их обрабатывать. В ряде регионов страны (особенно на юге) доля морисков была очень большой. Например, в Валенсии они составляли порядка трети населения. Лишь резкое снижение арендной платы позволило вновь заселить некоторую часть запустевших территорий. Чтобы восстановить потери населения, придумывали разные меры. Надеялись даже завезти на континент людей с Азорских островов, но ничего из этой затеи не вышло. Успешнее осуществлялась иммиграция христиан из других стран Европы: «испански-

¹³ Некоторые авторы полагают, что данное событие было очень важным, но далеко не фатальным для судеб испанской экономики [Hamilton 1938: 172–173], тогда как другие утверждают, что последствия изгнания морисков оказались гибельными [Elliott 1961: 59–60].

ми» ремесленниками в Мадриде к середине XVII века стали в основном иностранцы. Государство пыталось даже стимулировать рождаемость, освобождая молодые семьи от налогов на два года и от общинных платежей на четыре. Однако многие испанцы при этом вообще не заводили семью. Большое число монастырей и возможность массовой эмиграции в Америку негативно влияли на демографическую политику и мешали возрождению экономики и трудящегося населения. В первой четверти XVIII века население Испании было значительно меньше, чем в конце XVI столетия [Лозинский 1914: 189–192; Ведюшкин, Попова 2012: 552].

Реформаторская хунта

Упадок Испании, естественно, должен был в какой-то момент привести к стремлению осуществить реформы. Реформатором попытался стать Гаспар де Гусман-и-Пименталь, известный больше как граф-герцог Оливарес — испанский современник французского кардинала Ришелье. Испания противостояла Франции. Обе страны в равной степени нуждались в ресурсах для соперничества на полях сражений, и неудивительно, что попытки преобразований одновременно были осуществлены как испанцами, так и французами. Хотя с разным результатом.

Одним из первых действий Оливареса после прихода к власти было формирование реформаторской хунты из десяти человек, которым он поручил заниматься проблемами... морали и норм поведения. Сегодня выражение «реформаторы морали» звучит, наверное, странно применительно к государственным деятелям, но в Испании XVII века многие полагали, что главными задачами, которые необходимо решить для восстановления былого величия державы, являются именно задачи восстановления морали былых времен. Испанцы опасались того, что нагрешившая страна перестала быть угодна Господу. Таким образом, среди важнейших «реформаторских» мер доминировала триада: сокращение числа школ, борделей и чиновников¹⁴. Сегодня каждое из этих «бед-

¹⁴ «Вина» школ и борделей в разложении традиционного, религиозного общества более-менее ясна. Верному католику и семьянину нельзя ходить «на сторону» ни за знаниями, ни за удовольствиями. Если же уточнить, в чем состояли грехи чиновников, то, по-видимому, в слишком активном взяточничестве. Жиль Блас — герой известного плутовского романа, получив высокий пост при герцоге Лерма в эпоху, предшествующую приходу во власть Оливареса, брал взятки за решение у министра любых вопросов, с которыми к нему приходили люди. А сам министр,

ствий» проходило бы, наверное, по различным разрядам «реформирования», но в Испании XVII века они объединялись вместе как важнейшие факторы, развращающие кастильскую молодежь. Помимо них, высокопоставленным морализаторам досаждали еще романы и пьесы, публиковавшиеся в опасных для нравов количествах. Оливарес стремился наносить удар по всему, что формировало в Испании новое гедонистическое поколение, и способствовать тому, что учило бы юношей служить обществу [Elliott 1984: 67–68].

Еще одной задачей для графа-герцога было восстановление пошатнувшегося авторитета короны. Вообще-то, Кастилия первой половины XVII века управлялась неплохо в сравнении с Францией, незадолго до того пережившей страшные религиозные войны и в недалеком будущем столкнувшейся с Фрондой — крупным народным восстанием. Кастилия — важнейшее королевство на Пиренеях — была довольно спокойным местом. Но Оливарес, похоже, сравнивал то, что видел в современной ему Испании, не с Францией, а с временами Филиппа II, и при таком сопоставлении чувствовались явные проблемы.

Авторитет требовалось восстанавливать прежде всего в финансовой сфере, поскольку приток серебра из латиноамериканских колоний сокращался, а расходы казны оставались огромными. Государство целиком зависело от кредитных ресурсов, мобилизуемых генуэзскими банкирами на международном финансовом рынке, и этот монополизм Генуи сильно не нравился Оливаресу. Он хотел заменить генуэзцев, представляющих банк Святого Георгия, кем-то из подданных короны, полагая, очевидно, что со своими, «домашними» (и, надо полагать, зависимыми от властей) кредиторами легче будет договориться как о снижении ставки процента, так и о конвертации краткосрочного долга в долгосрочный. Среди испанцев особо искать было некого, поскольку евреев репрессировали уже почти полтора столетия назад, а среди истинных католиков доминировало стремление не бизнесом заниматься, а служить в армии. Но Оливарес рассчитывал на португальский бизнес, в котором «по недосмотру» португальских монархов сохранялось еще какое-то число затаившихся и не демонстрирующих своей веры евреев. Со времен Филиппа II Португалия находилась под властью кастильских королей, поэтому криптоевреи

прознав об этом «бизнесе», заявил, что половина вознаграждения по праву принадлежит ему [Лесаж: книга 8, гл. IX]. Подобная история, хоть и является художественным вымыслом писателя, но, скорее всего, отражает в целом коррупционную картину испанской жизни эпохи упадка.

были, можно сказать, теперь своими, и Оливарес имел возможность пригляднуться к их ресурсам [там же: 68–69].

Впрочем, займы займами, но надо было еще и повышать налоги для того, чтобы расплачиваться с кредиторами. Фискальная проблема в Испании была сильно запущена, поскольку долгое время проще было привозить серебро из Боливии, чем нажимать на потенциальных плательщиков в Европе. Кастилия традиционно несла большое бремя, но увеличивать его сверх разумных границ было опасно. Еще в XVI веке при Карле V случилось восстание коммунаров, связанное с тем, что король (родившийся во Фландрии, а потому считавшийся иностранцем) заполнил кортесы своими людьми, добился ввода новой налоговой системы и использовал кастильские ресурсы для ведения войн в других частях Европы. Восстание удалось подавить, и Кастилия продолжила нести свое бремя, но стало ясно, что отношения короля с кортесами определяются реальным соотношением сил в данный момент времени. Перенапрягать Кастилию было опасно [Фукуяма 2015: 452–453].

Нидерланды тоже несли большое бремя, но там дело кончилось революцией во второй половине XVI века при сыне императора Карла короле Филиппе II. В связи с революцией и образованием независимой Голландии на севере региона Нидерланды стали уже не столь хорошим плательщиком, как раньше.

Что же касается Арагона (включая Каталонию), Басконии и Португалии (попавшей под испанское правление при Филиппе II), то они обладали большими налоговыми льготами. Теоретически Оливарес мог вновь надавить на богатые города Кастилии, а мог более равномерно распределить финансовое бремя по огромной империи — от Фландрии до Перу. Увы, ему не удалось ни то ни другое. Кастильские кортесы не пошли навстречу властям, а такие регионы, как Арагон и Валенсия, соглашались что-то платить, но требовали компенсации [Elliott 1984: 71–73].

Можно сказать, наверное, что Оливарес делал практически все не так, как Ришелье. Если кардинал стремился двинуть страну вперед¹⁵, надеясь мобилизовать ресурсы с помощью новых методов, то графгерцог — назад, полагая, что искать следует не столько ресурсы, сколько утерянный рай. Ришелье усиливал бюрократизацию, но не усиливал

¹⁵ Естественно, это «вперед» следует понимать не в современном духе (демократия, толерантность и т. п.), а в духе XVII столетия, когда главным делом было выкачать из страны ресурсы для формирования большой армии и эффективного ведения боевых действий [Травин 2019: 21–27].

Церковь. Оливарес же, хоть и был светским человеком, напирал на духовность. Ришелье с помощью своеобразного «налогового терроризма» лишал отдельные регионы фискальных льгот, выстраивая тем самым централизованное государство; Оливарес же сохранил Испанию как совокупность отдельных земель. Возможно, он просто не в состоянии был добиться того же, чего добился Ришелье, но, как бы то ни было, реформы графа-герцога не спасли от упадка.

Серьезного повышения доходов за счет сбора налогов Испании удалось достичь лишь при Филиппе V Бурбоне в XVIII веке, когда самостоятельность регионов была значительно урезана, а французские методы администрирования, идущие от Ришелье, взяты на вооружение. Кастильские налоги ввели в Арагоне, Каталонии, Валенсии. Кортесы стали собираться реже и в основном лишь по формальным поводам (принесение присяги наследнику). Появился рекрутский набор в Кастилии, Андалусии и Галисии (другие регионы уклонились). Появились интенданты, ответственные за их сбор, но они вступили в конфликт с местными органами власти и проиграли, утратив важнейшие полномочия. Тем не менее доходы Филиппа V оказались на треть больше, чем у его предшественников, и это позволило начать строительство национальной армии [Кеймен 2007: 611, 616–620; Волосяк, Липкин, Юрчик 2014: 47–49]. Фактически можно сказать, что Испания строила налоговую систему, национальную администрацию и армию нового типа одновременно с петровской Россией, хотя еще двумя столетиями раньше держава Карла V была мощнейшей в Европе, а Московия Василия III вряд ли рассматривалась в важнейших столицах даже как европейская периферия. Испания утратила «фору», которая у нее была, и начала с «нуля». Более того, если Россия, начиная с Петра, стала одним из основных европейских политических акторов, то Испания в их число уже никогда не вернулась.

Правда, если взглянуть на развитие событий в Испании с консервативной точки зрения, то Оливареса можно, наверное, счесть успешным политическим деятелем. Не добившись успехов в развитии, он зато и не стимулировал недовольство. В отличие от таких динамичных городов, как Лондон и Париж, с большим числом купцов, ремесленников и рабочих, бюрократическо-придворный Мадрид не стал революционным центром в 1640-е гг. А слабые кастильские Кортесы к этому времени были уже сильно урезаны в полномочиях и мало кого реально представляли. Таким образом, для серьезного восстания не было ни подходящих «низов», ни «верхов». Ни английской революции, ни французской Фронды в Испании не вышло. Вместо них было противостояние Кастилии, яв-

лявшейся основой испанского государства, с Каталонией и Португалией, стремившимися к независимости [Elliott 2009: 79, 85–87].

Если в Англии и Франции бурлящий центр стал проводником перемен и основой развития — правда, по совершенно разным сценариям, — то лояльность Кастилии способствовала сохранению спокойствия. А в спокойной ситуации проще было отказаться от перемен и пойти на уступки бунтующим регионам (Португалию, правда, все равно удержать не удалось), нежели трансформировать все устройство монархии для того, чтобы встретить во всеоружии вызовы эпохи.

Духовные скрепы

В этом месте, наверное, как раз надо перейти к проблеме испанских «духовных скреп», которая, на мой взгляд, играет ведущую роль в том, что институты, способствующие развитию, долгое время не приживались ни на Пиренеях, ни на юге Апеннин, ни в Латинской Америке. А испанские «скрепы» — это в первую очередь инквизиция. Повсюду она имеет очень плохую репутацию. Существует множество книг, которые практически по одному стандарту рассказывают о ней как о череде жестоких расправ над людьми (и только). То, что писали советские авторы с целью атеистической пропаганды [Григулевич 1976], в этом смысле похоже на то, что писали некоторые западные публицисты, не имевшие подобных идеологических задач [Плэйди 2002]. На деле, однако, все оказывается значительно сложнее. Жестокость, конечно, имела место, но инквизиция ведь вообще существовала в жестокие века, когда людей мучили и убивали в огромном количестве.

Меньше, чем про костры и пыточные инструменты, мы знаем про то, что ряд представителей Церкви (в том числе монашеских орденов — августинцев, доминиканцев, францисканцев, а позднее еще и иезуитов) выступали против жестоких форм эксплуатации. Например, Церковь выступала против бесконтрольной власти испанских владельцев энкомьенд над индейцами в Америке. Этому, в частности, была посвящена булла “Sublimis Deus” Павла III в 1537 г. Многие католические идеологи хотели «возврата» к истинному христианству времен апостолов, стремясь исправить «ошибки», совершенные в Европе за пятнадцать столетий. И в этом смысле такое неприятное явление, как бизнес, связанный с эксплуатацией тысяч «неиспорченных» людей в Новом Свете, вызывало у них отторжение. «Праведники» хотели затормозить перемены, кото-

рые виделись им несправедливыми. Они не только сопротивлялись распространению рабства, но и надеялись уравнивать испанцев с индейцами. Они, не жалея своих сил, обучали индейских мальчиков в школах. Они стремились гуманным отношением к местным жителям смягчить жестокость энкомьенды. Они призывали христиан одуматься и не творить произвол. Существовали даже наивные планы ввести на новых территориях законы, которые испанские мыслители вычитали в появившейся как раз тогда «на прилавках» «Утопии» Томаса Мора. Этого, конечно, сделать не удалось, но удалось добиться указа Карла V о постепенной ликвидации энкомьенд. Решение короля действовало несколько лет, вызвало экономический хаос в колониях и было наконец отменено [Томас 2016б: 64, 146–147, 537–539, 572–577, 587–607; Кеймен 2007: 210].

Парадоксально, что с апологией правильной, христианской испанской империи выступал даже Томмазо Кампанелла — одна из известнейших ее жертв. Он надеялся на то, что «на смену развращенной и бездейственной империи придет новая очищенная мировая монархия. <...> Все свидетельства прошлой и современной истории и пророчества говорят о божественном решении вознести Испанию» [Кеймен 2007: 537]. Задолго до советской атеистической утопии существовала не менее влиятельная по меркам своего времени христианская утопия в виде огромной «интернационалистской» державы, где при правильном управлении и при господстве истинной морали все народы сольются в счастливом хоре людей, славящих Господа. В этой новой исторической общности, по Кампанелле, генуэзцы будут развивать мореплавание, немцы — прикладные науки, итальянцы — дипломатию [там же: 537].

Думается, именно из конфликта жестокого нового, но вполне реального, мира золота, войны и энкомьенд с гуманистическим мифом об истинном христианстве во многом происходят проблемы развития Испании и всего связанного с ней европейского Юга. Кажется невероятным, что гуманизм Церкви и инквизиция выросли на едином католическом дереве. Но, возможно, мы не будем этому удивляться, если примем во внимание тот факт, что по большому счету имел место конфликт прагматиков с фанатиками — иногда добрыми, иногда злыми, но в любом случае нацеленными на поиск утопических ответов на вызовы сурового и непонятного Нового времени. Кто-то из этих фанатиков плыл за океан, продираясь сквозь джунгли, проповедовал слово Божье, открывал школы, болел, голодал, умирал. Кто-то выстраивал в Европе механизмы для подавления инакомыслия, пытал, судил, и отправлял на костер. Однако как те, так и другие боролись с миром коммерческой выгоды, который

в это же время к северу от Пиренеев и Альп энергично пробивал себе дорогу. Таким образом, борьба с экстрактивными институтами (по Аджемоглу и Робинсону) шла в Испании не справа (не со стороны инклюзивных институтов), а слева. Даже в середине XIX века испанские консервативные мыслители уверяли, что «Испания была страной, созданной Церковью, страной, которую Церковь создала для бедных, которые в Испании были царями» [Доносо Кортес 2006: 375].

Церковь так или иначе пронизывала все испанское государство. Управлялось оно через систему советов, занимавшихся как функциональными проблемами (финансы, дипломатия, инквизиция, сословия, Крестовые походы), так и региональными (Кастилия, Португалия, Фландрия, Индия). В эпоху Филиппа II «почти все чиновники, служившие короне в советах... были светскими священнослужителями, которые к концу своей жизни становились епископами» [Томас 2018: 53]. Значительная часть населения этой «страны советов» уходила в монастыри, причем не только в Старом Свете, но и в Новом. Например, в Лиме (Перу) пятая часть городской территории была отдана под размещение женских обителей и примерно такая же часть местных женщин превратилась в монашек [там же: 152]. В 1570-х гг. порядка четверти взрослого населения Испании относилось к числу клириков — монахов, священников, послушников [Davies 1954: 289]. В Вальядолиде (Кастилия) в 1683 г. основная часть населения так или иначе была связана с Церковью [Капен 1964: 70]. Для сравнения заметим, что по другую сторону Пиренеев, в Каркассоне, в начале XIV века лишь около 2,5 % горожан относилось к числу клириков [Mundy 1991: 24]. И в Нюрнберге в 1450 г. оставались всё те же 2,5 %. В среднем по германским городам того времени лишь один из пятидесяти бюргеров был клириком. В Лилле в конце XVII столетия клир составлял менее 3 % населения [Friedrichs 2003: 66, 86]. В общем, самые разные данные говорят о том, что даже в католическом мире масштабы религиозности были значительно меньше испанских. А уж в протестантских городах, где не было монашества, доля священников среди бюргеров стала ничтожно малой.

В XVIII веке испанский реформатор Педро де Кампоманес все еще вынужден был мечтать о том, что «Испания в будущем должна превратиться из страны святош и идалго в страну торговцев и предпринимателей» [Суховерхов 2012: 46]. Но святоши по-прежнему доминировали. Трудно сказать, почему именно испанская монархия допускала у себя столь большое влияние Церкви. Конечно, сами монархи были людьми религиозными [Davies 1954: 130–131], но должны были быть, конечно,

и какие-то объективные обстоятельства, благодаря которым испанцы так много внимания уделяли религии и верили в свою историческую миссию спасти мир. С одной стороны, по-видимому, это определялось зависимостью от исторического пути — несколькими веками жизни кастильцев в условиях реконквисты, когда без союза с Церковью у монархов не было бы ни достаточного объема денежных средств на формирование армии¹⁶, ни духоподъемных идей, заставлявших подданных отдавать силы тяжелой и кровопролитной борьбе. Ведь на Пиренеях (в отличие от Святой земли или Пруссии) жизнеспособность крестоносной идеи зависела не только от рыцарства, но и от боеспособности широких масс населения. С другой стороны, «испанская монархия», возникающая в результате исторической случайности (благодаря трем успешным династическим бракам¹⁷), включающая в XVI столетии земли, разбросанные по разным частям Европы¹⁸ с говорящим на разных языках населением, нуждалась в дополнительном цементирующем ее факторе, помимо верности подданных своему королю. Единственным таким фактором могла стать искренняя, фанатичная христианская вера, невозможная без союза с Церковью.

Английский историк Джон Эллиот четко поставил диагноз Испании: «Это было милитаризованное общество, проникнувшееся крестоносной идеей, привыкшее к реконквисте и к завоеванию Америки ради славы и добычи. В нем доминировали Церковь и аристократия, утвердившие идеалы, плохо сочетавшиеся с капитализмом» [Elliott 1961: 66]. Похожий диагноз исследователи часто ставят и России.

А французский историк Франсуа Блюш нарисовал совсем печальную картину, заметив, что нравы, царившие в Испании, несовместимы даже с Просвещением. «30 июня 1680 года в Мадриде свершилось тор-

¹⁶ Порядка трех четвертей средств, необходимых для завоевания Гранады, предоставила католическим королям Фердинанду и Изабелле именно Церковь [Кеймен 2007: 40].

¹⁷ Брак Фердинанда и Изабеллы Трастамара соединил Арагон с Кастилией. Брак императора Максимилиана и Марии Бургундской (дочери Карла Смелого) подчинил Габсбургам Нидерланды. И наконец, женитьба Филиппа (сына Максимилиана и Марии) на Хуане (дочери Фердинанда и Изабеллы) отдала в руки их сына Карла V пол-Европы. А в дальнейшем династические хитросплетения включили на несколько десятилетий в состав Испании еще и Португалию.

¹⁸ Как грустно шутил вице-король в Неаполе по поводу переписки на дальние расстояния: «Если посылать за смертью, то лучше в Испанию, потому что тогда она не придет» [Кеймен 2007: 228].

жественное и жестокое аутодафе. На главной площади этого города с 6 часов утра до 9 часов вечера проходили религиозные церемонии, чтения приговоров, отречения и публичные покаяния 86 евреев, маранов, “еретиков” или магометан, уже осужденных Святым судом. 18 человек из них, среди которых шесть женщин, были сожжены. Карл II присутствовал от начала до конца на этом жутком зрелище. <...> С 8 часов утра Его Величество король сидел у себя на балконе, жара ему не мешала, огромные толпы народа не надоедали, и даже такая длительная процедура не вызвала у него ни на мгновение скуку. <...> Никогда никто не мог подумать, что в Испании 1680 год мог бы быть рубежом между веком Контрреформы и веком Просвещения» [Блюш 1998: 582].

Если мы понимаем масштабы испанской религиозности в целом, то нам легче разбираться и в испанской инквизиции. Вообще-то, инквизиция зародилась в Средние века и была весьма широко распространена в католическом мире [Ли 1999]. Однако «лишь в одном европейском регионе церковные трибуналы продолжали сохранять свое влияние в раннее Новое время. Средиземноморский католицизм мог гордиться существованием трех могущественных инквизиций — испанской, римской и португальской, которые, подобно их средневековым предшественникам, были созданы для искоренения ереси. Но на протяжении XVI и XVII веков юрисдикция этих инквизиционных судов расширилась, и в их ведении оказались многие другие дела. Их архивы заполнены протоколами судебных заседаний и допросов людей, придерживавшихся разнообразных заблуждений, которые не могли формально быть признаны ересью, а также тех, кто обвинялся в совершении различных преступлений против нравственности, магов, черных и белых, владельцев и читателей запрещенных книг и многих других. Средиземноморский католицизм имеет собственный отчетливый контур на схеме распространения социального контроля в Европе раннего Нового времени. Средиземноморье было единственным регионом христианского мира, где такие преступления, как ведовство или двоеженство, часто рассматривались в церковных, а не в светских судах: к северу от Альп и Пиренеев даже в католических странах подобные преступления подпадали под светскую юрисдикцию. Ряд наиболее важных и глубоких различий между средиземноморским регионом и Северной Европой в раннее Новое время может быть объяснен, если принять во внимание необычайно широкий масштаб религиозного и социального контроля, осуществлявшегося этими своеобразными институтами» [Монтер 2003: 83–84]. Эта большая цитата из книги американского историка Уильяма Монтера очень важна,

поскольку обращает внимание на то, что инквизиция в Средиземноморье контролировала не только «духовные скрепы», но фактически весь образ жизни.

В середине XVII века Филипп IV получил жалобу, в которой говорилось, что из-за действий инквизиции в стране фактически нет больше нормального светского суда, а самоуправство, слепая месть, кулачное право заменяют правосудие. Король не решился вступать с инквизицией в конфликт, и лишь его преемник Карл II во второй половине столетия попытался изменить положение дел, однако не слишком успешно [Лозинский 1914: 354]. Положение стало меняться в какой-то степени лишь в XVIII веке со сменой династии Габсбургов на династию Бурбонов. В 1770 г. Карл III юридически смог ограничить власть инквизиторов, но после его смерти в 1788 г. процесс преобразований застопорился вновь¹⁹. А затем французская революция так напугала Карла IV, что он вновь усилил инквизицию [там же: 362–364].

Отличие религиозного суда от светского состоит в том, что одним из важнейших оснований для вынесения приговора является идеология. Светский суд, как и религиозный, может совершать ошибки, быть предвзятым или коррумпированным. Светский суд, конечно, не является гарантией защиты прав человека и, в частности, его права на обладание частной собственностью. Однако у него нет оснований рассматривать вольномыслие в качестве важнейшего преступления. Светский суд сохраняет свободу человеку в той мере, в какой он не вмешивается в большую политику и не переходит дорогу большим людям. Религиозный суд, в отличие от светского, производит «зачистку» мыслей. В конкретных делах он может быть иногда даже более гуманным по причине высокой образованности и духовности некоторых его членов, однако, если смотреть на проблему в целом, такой суд станет энергичнее суда светского отвергать все, что способствует радикальным переменам в обществе. Он будет преследовать само появление инакомыслия. Если сравнить светские суды эпохи абсолютизма с религиозными, то это сравнение будет в известной мере напоминать репрессивные машины авторитарных и то-

¹⁹ Похожим образом обстояло дело и в Португалии, где Педру II во второй половине XVII века «вел политическую борьбу за изменение режима конфискации благ “новых христиан”, осужденных церковью, но так и не смог улучшить положение, поскольку инквизиторы непреклонно выступали против желания монарха. Жуан V (первая половина XVIII столетия. — Д. Т.) продолжил усилия в этом же направлении, и поскольку он обладал огромными финансовыми ресурсами, которые использовал в Риме, то добился частичной победы» [Сарайва 2007: 209].

талитарных режимов XX–XXI столетий. В отношении конкретного человека, перешедшего дорогу правителям, авторитаризм и тоталитаризм могут быть в равной мере жестоки. Но автократия при этом оставляет «абстрактному человеку» право на размышления и даже право на выражение своих мыслей в узком кругу (не способном подорвать позиции власти), тогда как тоталитаризм равняет всех членов общества под одну гребенку.

Иногда, впрочем, представления о деструктивности инквизиции опровергаются фактами, согласно которым в XVII веке интенсивность репрессий сильно снижается. Еретиков в Испании сжигают не больше, чем ведьм в Германии, а во Франции за одну лишь Варфоломеевскую ночь от рук фанатиков пострадало больше людей, чем в Испании за много лет работы инквизиционных трибуналов. Современные данные, полученные на основе изучения архивных материалов после падения франкистского режима, показывают, что узников инквизиции за полтора столетия, с середины XVI по конец XVII столетия, было в два раза меньше, чем предполагал ее первый крупный исследователь Хуан Антонио Льоренте в начале XIX века, а казнено было из них не 15 %, а лишь менее 2 %. Более того, инквизиция не являлась монополистом в области цензуры, поскольку «монополия» подрывалась изнутри: разные инквизиторы в разных регионах могли по-разному относиться к запретам, допускать исключения в отношении отдельных книг для отдельных лиц. А кроме того, система контроля не обладала достаточной жесткостью, чтобы воспрепятствовать проникновению опасных идей из-за «железного занавеса». В частных испанских библиотеках вполне могли храниться запрещенные книги [Goodman 2005: 381–386].

Уильям Монтер приводит данные, согласно которым количество дел, рассмотренных испанской инквизицией в 1560–1614 гг., было значительно большим, чем в предшествующий и последующий периоды. А к концу XVII столетия дел было уже в 4,5 раза меньше, чем в период расцвета контрреформации [Монтер 2003: 86]. Таким образом может сформироваться представление, будто со временем инквизиция перестала быть преградой на пути развития общества²⁰. Сам Монтер отмечает,

²⁰ В Португалии многие мыслители уже в XIX веке видели в инквизиции причину упадка страны, но сегодня подобные представления опровергаются порой ссылкой на то, что «инквизиция лишь институционализовала и распространила дух нетерпимости, являющийся дурной стороной характера португальца» [Сарайва 2007: 166]. Неясно, однако, почему же именно португальцы (или испанцы?)

что бóльшая часть европейских светских судов имеет показатели, говорящие об их значительно большей жестокости в XVI–XVII столетиях. И, кроме того, инквизиторы, в отличие от светских судей, старались найти подход к каждому человеку, понять мотивы его «ошибочных» действий или мыслей. Они оказывались лучшими «психологами», нежели их коллеги, находящиеся вне Церкви [там же: 84].

На самом деле, думается, все эти данные говорят совсем о другом: о том, что общество было сильно запугано, понимало сложившиеся «правила игры» и не стремилось их оспаривать. Понять эту метаморфозу легче, если мы для сравнения обратимся к недавней истории нашей страны. Как известно, интенсивность репрессий «снизилась» в СССР после Большого террора 1937–1938 гг. Ведь за эти годы практически вся советская политическая элита была уничтожена. Даже недовольные сталинским режимом люди осознали бессмысленность сопротивления. Более того, постепенно выросло новое поколение людей, у которых страх перед репрессиями формировался с детства, а стремление самостоятельно мыслить вообще не формировалось. Неудивительно, что Сталин после Большого террора уже не нуждался в столь массовых убийствах, как раньше. И тем более в них не нуждались его преемники — люди, хотя и являвшиеся продуктом тоталитарной системы, но по природе своей менее жестокие, чем «отец народов». Однако даже в этих новых «гуманных» условиях СССР оставался такой же неспособной к развитию страной, как и раньше. Минимум расстрелов и даже сокращение числа тюремных заключений означали не появление возможностей для развития новых идей, а полную апатию масс, адаптировавшихся к репрессивной системе. Если же кто-то из диссидентов не желал к ней адаптироваться, несмотря на угрозы, система его карала: пусть менее жестоко, чем в сталинские годы, но не менее эффективно.

Тоталитарная система, бесспорно, являлась гораздо лучшим «психологом», чем авторитарная, поскольку старалась перевоспитать человека, нарушившего ее правила. Правда, «психотерапия» сводилась к тому, чтобы любыми методами заставить человека изменить свой образ мыслей или, скорее, заставить публично признаться в том, что его образ мыслей раньше был неправильным. Некоторых диссидентов даже отправляли в психиатрические больницы, демонстрируя тем самым, будто

были столь нетерпимы? Нетерпимость в Средние века встречалась на каждом шагу во всех странах, но инквизиция продержалась особенно долго именно в Южной Европе.

их свободомыслие — это всего лишь заболевание. Но и с теми, кто просто отбывал наказание, должны были формально работать идеологи. Более того, идеологи должны были работать с каждым советским человеком примерно так же, как священник должен был в эпоху Контрреформации работать с каждым католиком, воздействуя теми или иными методами на его психику. В СССР хватало университетов, так же как в Испании XVI–XVIII столетий. И у нас, и в Испании они порой неплохо финансировались. «Но могли ли появляться образованные люди в стране, где надо испрашивать разрешение на мысль?» [Goodman 2005: 376].

Как в старой Испании, так и в Советском Союзе система была «однопартийная, но многоподъездная», т. е. существовали механизмы ее обхода для «самиздата», «тамиздата» и всяких «вражьих голосов». С этим связана интрига романа «Тень гильотины, или Добрые люди» Переса-Реверте, основанного на реальных фактах. Королевская академия закупает во Франции «тамиздат» — энциклопедию Дидро и д'Аламбера, которая запрещена инквизицией. При этом специальное разрешение на данную закупку было получено от короля Карла III, уже имеющего энциклопедию в собственной библиотеке и с интересом ее изучающего. Более того, представитель инквизиции в Академии заявил, что лично он возражений против закупки не имеет²¹. В общем, мягкость отдельных цензоров и слабость административного контроля позволяли продвинутой части населения знакомиться с запрещенными идеями. Тем не менее как в испанском, так и в советском случае проникновение чуждых идей из-за рубежа не могло переломить деструктивных тенденций, которые вели страны к застою. Возможно, Испанию времен инквизиции правильнее сравнивать даже не с СССР, а с европейскими странами Восточного блока, где было меньше запретов на контакты с Западом и существовали попытки ограниченных реформ. Но в любом случае, когда мы принимаем во внимание хорошо известный нам из недавней советской истории опыт, мы лучше понимаем то, что происходило в Южной Европе три-

²¹ Вообще-то, энциклопедия была запрещена и во Франции (как во всем католическом мире), но герои романа [Перес-Реверте: глава 5] четко подмечают различие между двумя странами. Во Франции книгоиздание — это бизнес, который в конечном счете обогащает государство (в том числе госслужащих, берущих взятки), поэтому там работает серый рынок запрещенных книг, почти не подвергающийся давлению властей («Полиция реквизирует в основном Вольтера. И это лишь повышает его стоимость»). А в Испании экономика находится на заднем плане, поэтому проникновение «тамиздата» определяется персональными симпатиями просвещенных лиц и антипатиями консерваторов.

четыре столетия назад. Мы понимаем, что сам факт существования идеологии, не допускающей альтернативы, жестко препятствовал развитию даже при дырах в «железном занавесе». Причем это было характерно вовсе не для всех католических стран, а только для тех, где Церковь имела особые права наряду с государством.

В частности, галликанская (французская) католическая Церковь вынуждена была больше ориентироваться на власть собственного монарха, чем на власть Святого престола в Риме. Поэтому она не могла стать таким тормозом на пути развития общества, как Церкви испанская, итальянская и португальская, которые тоже, конечно, своим монархам подчинялись, но имели при этом большое пространство для принятия собственных решений. «Во всех европейских странах в XVII веке религиозная цензура подавляла интеллектуальный прогресс, от которого зависит экономическое развитие, но в Испании влияние Церкви на образование имело наихудшие последствия благодаря цепким рукам инквизиции» [Hamilton 1938: 176].

Лучше всего сравнить испанский вариант католицизма с неиспанским, используя пример Южных Нидерландов. В ходе революции конца XVI века они, в отличие от Голландии и ряда северных провинций, не смогли освободиться от владычества Мадрида и на протяжении всего XVII столетия оставались регионом, в котором действовали испанские институты. Это как раз была эпоха Контрреформации. И хотя в Нидерландах, конечно, не могло существовать столь же жестких норм поведения, как, скажем, в Кастилии, Церковь энергично тормозила перемены. Даже в первой половине XVIII века не было ни книжных магазинов, ни периодических изданий, посвященных вопросам науки и литературы. Священники контролировали высшее образование. Интеллектуальные дискуссии отсутствовали. Вольтер писал о Южных Нидерландах как о стране, нищей духом, но богатой верой [Израэль 2018: 483].

Однако в начале XVIII века по итогам войны за испанское наследство данный регион перешел от Испании к Австрии. Влияние Мадрида сошло на нет. Брюссельскую администрацию стали формировать из Вены. Возросло влияние соседней Франции, где в XVIII веке как раз появлялись идеи Просвещения, причем чтение вольнодумных книг облегчалось общностью языка Франции и Валлонии. Близость экономически успешной Голландии и набирающей мощь Англии тоже влияли на интеллектуальную атмосферу Австрийских Нидерландов. Естественно, перемены не пошатнули господство католической веры. Тем не менее со временем католицизм стал иным. В середине XVIII века в Брюсселе по-

явилась прогрессивная администрация во главе с принцем Карлом Александром Лотарингским. Новые люди стали отделять Церковь от государства. Влияние папства и контрреформации теперь ограничивалось лишь узко религиозной сферой. Религия не должна была мешать прогрессу наук и светского образования. Императрица Мария Терезия стремилась к промышленному и торговому развитию, а оно невозможно было без просвещения, хотя бы умеренного и консервативного. Радикальные идеи французских философов могли проникать в Австрийские Нидерланды лишь нелегально, но все, что касалось естественных наук, истории, географии, навигации и научных экспериментов, получило право на существование. После роспуска ордена иезуитов произошла секуляризация среднего образования. Появились терезианские колледжи, в которых преподавали учителя-миряне. Снизилась роль латыни и других дисциплин, характерных для иезуитских программ. Возросла роль математики, истории, современных языков. На этом фоне стали происходить радикальные перемены в экономике: прежде всего в добыче угля, производстве железа и текстильной индустрии. В 1780-х гг. Иосиф II еще больше ограничил роль Церкви и издал эдикт о веротерпимости, благоприятный для протестантов и евреев, но затем его преемник Леопольд отказался от некоторых реформ из-за массовых протестов, а также давления со стороны Пруссии и Англии [там же: 483–486, 516–517, 544–546]. Конечно, быстрых перемен все эти умеренные преобразования обеспечить не могли, но все же следует заметить, что успехи образовавшейся на месте Австрийских Нидерландов Бельгии в XIX веке были явно значительнее, чем успехи Испании или Южной Италии.

Таким образом, проблема развития общества связана с инквизицией. Но дело не в ее жестокости, а в идеологизированности. Проблема сводится к доминированию одной, единственно верной идеологии, не допускающей отклонений. Весьма характерно в этом отношении дело мельника из региона Фриули в Италии Доменего Сканделла по прозвищу Меноккио, подробно описанное известным историком Карло Гинзбургом. Меноккио весьма вольно трактовал христианство, хулил Церковь за роскошество и стремился к иному, более правильному устройству жизни. После подробного разбирательства, осуществленного инквизицией, он сел в тюрьму, но через два года был отпущен на волю и отправлен в родную деревню. Лишь когда выяснилось, что мельник вновь взялся за старое, его пытали, а затем казнили. По сути, вольнодумцу давали возможность одуматься, но поскольку он этого не сделал, настал жестокий конец [Гинзбург 2000: 165, 188–190, 201, 211–213, 325].

Похожая история сложилась и со знаменитым делом Галилео Галилея, которое находилось в ведении римской инквизиции. С советских времен у нас в стране привыкли считать эту историю чудовищной жестокостью Церкви. Но внимательное изучение фактов показывает, что по тем временам, когда люди тысячами гибли в кровавой Тридцатилетней войне, суд над Галилеем оказался сравнительно мягким. Ученого не сжигали и даже не пытали. 33 года, прошедших между казнью Джордано Бруно и интересующим нас сейчас делом, как будто бы сильно трансформировали нравы. Галилея приговорили к тюремному заключению, однако даже отсидеть ему фактически не пришлось. Папа смягчил приговор и позволил старику относительно спокойно провести остаток своей жизни на вилле под Флоренцией, а затем (когда выяснилось, что там из-за удаленности от города есть трудности с оказанием врачебной помощи) в самой Флоренции, в собственном доме. Чтобы все завершилось мягко, от Галилея требовали всего лишь признания допущенных в его научном трактате мировоззренческих ошибок. И он их действительно признал, хорошо понимая, что с ним произойдет в противном случае. Проще говоря, был достигнут компромисс, не идеальный для каждой из сторон, но по большому счету всех устраивающий. Церковь остановила распространение тех взглядов, которые ей не нравились, а Галилей прожил подольше и умер под своим кровом. Внимательный анализ биографии ученого показывает, что никакой ненависти к нему Церковь не испытывала. До поры до времени он находился в весьма приличных отношениях с рядом влиятельных церковников, включая кардинала Маттео Барберини, ставшего впоследствии папой Урбаном VIII, в понтификат которого и случилось печальное дело Галилея. Ученый, собственно, потому и смог зайти весьма далеко в своих исследованиях, что наука не пресекалась на корню, а порой пользовалась покровительством. От нее лишь ждали, что результаты исследования впишутся в идеологию Церкви [Кузнецов 1964; Шмутцер, Шютц 1987; Штекли 1972].

Более того, не следует думать, будто Церковь всегда отличалась тупым догматизмом. Мотивы для многих ее иерархов были, возможно, совсем другие, нежели отстаивание старых, «скрипящих» скреп. Скажем, кардинал Беллармин — инквизитор, занимавшийся делом Галилея в 1616 г. (тогда ученому сделали лишь внушение), — не мог понять упорства «подследственного», готового утверждать, что Земля несется в пространстве с огромной скоростью вокруг Солнца. Ведь если бы эта информация дошла до широких масс суеверного, необразованного на-

селения, живущего в «страхе Божьем», люди почти в прямом смысле слова утратили бы почву под ногами, и это нанесло бы вред обществу [Фейерабенд 2007: 192].

Вряд ли Федор Достоевский, сочиняя легенду о Великом инквизиторе для романа «Братья Карамазовы», знал историю о Беллармине и Галилее, но он, по сути дела, верно передал мотивацию своего героя: Церковь должна избавить паству от страха, предложив ее патернализм. И ради этой цели она может отвергнуть не только Галилея, но даже Христа [Достоевский: книга 5, гл. V]. В переводе на язык современной идеологии, Церковь думала об эффективных «скрепах», на которых держится общество, а не о научных достижениях, которые важны для «фанатичных ученых».

Мотивацию Великого инквизитора можно понять и даже принять. Однако, если нас интересует не вопрос осуждения или оправдания «кровавой инквизиции», а вопрос о возможностях научного и экономического развития южных европейских регионов, то вывод окажется неблагоприятным для Церкви. Для начала обратим внимание на любопытную параллель. Рене Декарт, проживавший в это время в Голландии — сравнительно свободной стране, находящейся далеко от центров инквизиции, — узнав об осуждении Галилея, пребывал в шоке. Проблема состояла в том, что он написал труд с выводами, которые были тесно связаны с галилеевскими. Он даже не подозревал, что человек, пользующийся, как представлялось, расположением папы, может быть осужден за науку. Декарт думал, что трудится в соответствии с волей Церкви, а теперь оказалось, что и сам он плохой католик, раз пишет книги в духе Галилея. И Декарт отказался от публикации своего трактата, не желая даже достоверные и очевидные размышления предлагать публике наперекор авторитету Церкви [Декарт 1989а: 596–597]. В дальнейшем он уделял большое внимание тому, чтобы «ввести Бога» в исследования и устранить превратное их понимание. Книгу «Первоначала философии» он завершил словами: «...не желая полагаться слишком на самого себя, я не стану ничего утверждать; все мною сказанное я подчиняю авторитету католической церкви и суду мудрейших» [Декарт 1989б: 422].

Возможно, Декарт перестраховался, но он ведь был хорошим католиком со времен учебы в иезуитском колледже и думал не о наказаниях со стороны инквизиции, а о должном поведении сына Церкви. Таких верных сынов тогда было множество, и трудно сказать, сколько еще людей отказалось от разных открытий по моральным соображениям. А теперь попробуем поставить на место несчастного Галилея не мудреца

Декарта и не гражданина свободной Голландии, а любого человека, живущего в странах, где доминировала инквизиция. Станет ли он в таком обществе делать что-то, выходящее за рамки допустимого, особенно если эти рамки неопределенны (Галилей ведь до последнего момента не мог понять, что позволено, а что нет)? Не проще ли простому человеку плыть по течению, зная, что лишь в этом случае он сможет спокойно прожить жизнь, вырастить детей и умереть под родным кровом? «Гнетущее влияние церкви и ее сопротивление всему, что хоть как-то могло поколебать постулаты веры, наглухо закрыло немало дверей и придавило — если не поджарило — бесчисленное количество талантов. <...> Что-то придумывать, создавать новые, продвинутое производства, изобретать современные штучки — это все было чревато проблемами с инквизицией» [Перес-Реверте 2021: 122, 129].

Среди людей ведь не так уж много пассионариев, готовых прорываться к звездам, несмотря на тернии. Стандартная ситуация в любой эпохе — это конформизм. Надо всё делать, как делают все. Тихо жить, ходить в церковь и вкладывать деньги не в бизнес²², не в опасные коммерческие эксперименты, а в спасение души, в строительство и украшение храмов, а также в развлечения, без которых душе тоже не обойтись. Когда мы путешествуем по Южной Европе и восхищаемся пышными памятниками эпохи барокко, следует помнить, что их создание имеет обратную сторону: отсутствие коммерческих предприятий. Те деньги, которые англичане и голландцы инвестировали в бизнес, испанцы, португальцы, итальянцы вкладывали в спасение души. «Промышленная революция началась там, где произошло наиболее решительное освобождение интеллектуального творчества из-под власти церкви; в протестантских регионах Северо-Западной Европы. На католическом юге и в центре Европы индустриализация и ее эмансипативные последствия запыльцовали» [Вельцель 2017: 55].

Причем, помимо строительства храмов, огромные средства тратились на религиозные праздники. Сегодня мы уже не обнаружим их следов во время путешествий, однако в исторических источниках следы со-

²² В дополнение к сказанному следует заметить, что иногда бизнес включал в себя дополнительные риски, связанные с позицией Церкви. Герои Переса-Реверте [Переса-Реверте: глава 3] рассуждают, например, о том, почему испанские крестьяне неделями ждут ветра для провеивания пшеницы, тогда как за рубежом давно изобретена веялка. А дело в том, что Церковь осудила веялку, поскольку это мешает людям терпеливо ждать, пока Божественное провидение пошлет долгожданный ветер.

хранились. Так, в частности, один очевидец, описавший в 1594 г. празднование дня Тела Господня в Севилье, отметил, что статуя святого Иоанна Крестителя была похожа на груды драгоценностей. Так постарался один местный меценат [Ведюшкин, Попова 2012: 596]. Понятно, что вкладывать свои деньги в развитие экономики подобные богобоязненные меценаты уже не могли. А кроме вложения в религиозные церемонии, немало денег тратилось еще и на праздники светские. Ортега-и-Гассет отмечал, что коррида в ее современном виде сформировалась к 1740 г., причем начало процессу формирования подобных народных развлечений положил упадок испанской аристократии, ставший очевидным во второй половине XVII века. Простолюдины несли в заклад последнюю рубашку, лишь бы попасть на бой быков. А в это время высокородные дворяне теряли голову из-за актрис и актеров [Ортега-и-Гассет 1991: 519–525]. Простонародная культура, «махизм», казалось бы, прямо противоречила торжественной испанской религиозности, но сочетание несочетаемого можно понять, если принять во внимание, что как то, так и другое возникало на том месте, где в иных странах зарождалось рациональное стремление обустроить семью, бизнес и государство.

Небольшого числа «гуманных процессов», подобных процессу Галилея, вполне достаточно для того, чтобы затормозить развитие общества, если это развитие требует прорывов. Южная Европа в XVII–XVIII веках не падала, не разрушалась, не деградировала. Она просто застыла в тот момент, когда другие начали меняться. Точно так же, как застыл СССР с его административным хозяйством в те десятилетия, когда на Западе при рыночной экономике возникало общество потребления²³.

Процесс Галилея наиболее известен. Однако в истории инквизиции можно выделить еще ряд процессов, отличающихся не столько жестокостью, сколько именно тем, что они становились своеобразными сигналами для общества: как можно себя вести, а как нельзя; куда следует направлять свою активность, а куда нет. В 1776 г. по доносу монаха-капуцина инквизиция арестовала Пабло Олавиде — коррехидора Севильи и интенданта Андалусии. Он перестраивал город в соответствии с требованиями эпохи и ущемлял земельные права Церкви. В 1797 г. доклад Гаспара Мельчора де Ховельяноса, предлагавший наделить крестьян

²³ Еще один любопытный пример медленного развития — Индия, где на протяжении веков светская власть была ограничена властью священнослужителей [Арнасон 2021: 56].

землей за счет церковных имуществ, был осужден инквизицией, несмотря на одобрение, полученное от Совета Кастилии. А Мельчор Рафаэль де Маканас — первый идеолог регализма (теории, согласно которой король имеет приоритет над Церковью и сословиями) — вынужден был 34 года провести в изгнании (а последние 12 лет — в тюрьме) из-за преследований инквизиции [Волосюк, Липкин, Юрчик 2014: 52, 81, 95]. Можно спорить о том, насколько эффективны были новые подходы к городскому и земельному устройству, и тем более о плюсах и минусах королевского абсолютизма, но в данном случае это не столь уж важно. Важно то, что проблема Испании состояла в способности инквизиции парализовать любые реформы просто в силу своего влияния на политику.

Во второй половине XVIII века инквизиция активно преследовала еретиков нового типа за такие их увлечения, как философствование и натурализм. Фактически это означало наказание за изучение трудов крупных зарубежных мыслителей и ориентацию на французское Просвещение. Даже аристократы, откликнувшиеся на модные веяния, министры, увлекавшиеся новыми идеями, и епископы, намудрившие в интерпретациях, могли попасть под удар [Лозинский 1914: 296–298, 377, 406–407]. В итоге испанское Просвещение было практически лишено антиклерикальной составляющей в отличие от идей французского Просвещения [Волосюк, Липкин, Юрчик 2014: 104].

В наполеоновскую эпоху Франция победила Испанию и, казалось бы, Просвещение должно было возобладать за Пиренеями. Но Наполеон оказался в конечном счете свергнут, и все вернулось. Король Фердинанд VII восстановил инквизицию и 14 апреля 1815 г. лично «посетил инквизиционный трибунал, присутствовал на его совещаниях, подписал его приговоры, осмотрел его тюрьмы и принял участие в трапезе в здании инквизиции» [Лависс, Рамбо 1938: 220].

«Злой и добрый следователи»

Если в СССР развитие тормозилось из-за идеологических догм, а в постсоветской России — из-за «наездов» на бизнес, то инквизиция удивительным образом могла сочетать эти две деструктивные практики. Идеология препятствовала инновациям, но, если бизнес в этих условиях все же возникал, инквизиция его потрошила.

Правила функционирования инквизиции были таковы, что стимулировали особо внимательную работу с богатыми «клиентами». Инквизи-

торы часто искали евреев, которые, формально приняв христианство, на деле исповедовали старую веру, а значит, считались еретиками. «Дело нехитрое: самого еврея истребить или изгнать, его имущество — конфисковать. Прикиньте сами, — иронично замечает Перес-Реверте, — насколько рентабельным был этот бизнес» [Перес-Реверте 2021: 82]. Но при этом «у инквизиции всегда было стремление называть евреями хозяев крупного движимого имущества. <...> Преследование криптоиудаизма (то есть тайного иудейского культа) могло стать удобным источником дохода» [Сарайва 2007: 130, 163]. Так что не совсем прав Перес-Реверте: имелись у инквизиции хитрости, благодаря которым можно было существенно увеличивать рентабельность ее богоугодного дела.

Движимость, недвижимость и наличные деньги нераскаившихся (или слишком поздно раскаявшихся) «грешников» безжалостно конфисковывались. Не легче, впрочем, было и «праведникам». «Большинство из тех обвиненных, которые сумели доказать невиновность, так никогда и не получили назад своего имущества, конфискованного в начале расследования» [Томас 2016а: 56]. Более того, конфискация являлась наказанием не только для невиновных, но даже для непричастных. Если еретиком был *pater familias*, имущества лишалась вся семья, если капитан судна — все, кто вез на нем грузы, причем сам корабль тоже изымался у его хозяина [Kamen 1965: 512].

Современники порой прямо рассказывали об истинных целях инквизиции. «Инес Лопес из Сьюдад-Реаля говорила, что вся эта инквизиция, “только чтобы отнять деньги и чтобы их [конверсо] ограбить”, а закон для инквизиторов, что дышло: куда повернул, туда и вышло. Сходное возмущение выражала Каталина де Самора: “Эта инквизиция, которая устраивается этими отцами[-инквизиторами], устраивается в той же мере, чтобы захватить имущество конверсо, и чтобы возвеличить веру. <...> вот какую ересь нашли у Хуана Пинтадо: шестнадцать простыней взяты из его дома, и из-за этого погиб, а не потому, что был еретиком”» [Зеленина 2018: 254].

Государство имело прямую заинтересованность в том, чтобы таких «заблудших душ» становилось как можно больше. Прямая заинтересованность в деле была и непосредственно у самих инквизиторов, поскольку они получали зарплату из отобранных у еретиков средств. Наконец, широкие слои небогатого населения имели как минимум моральную заинтересованность: бедные ненавидели богатых и получали возможность отомстить им за свою тяжелую жизнь, донося в инквизицию на ближнего своего, зачастую на односельчанина [Bergemann

2019: 71]²⁴. Понятно, что в такой ситуации бизнесу было трудно уцелеть. Тот, кто чуть-чуть поднимался над общим уровнем, становился одновременно объектом зависти соседа, а также целью для грабежа со стороны властей и инквизиторов. Выживание в этой ситуации требовало специфического поведения и специфических практик, в которые заранее закладывались представления о том, что «делиться надо».

Самым интересным в механизме инквизиции было то, что правила узаконивали своеобразный торг с «денежными мешками». «Те, которые добровольно сознаются в своих грехах, должны, помимо наложенных на них инквизиторами денежных или иных штрафов, часть своего имущества предоставить на богоугодное дело... священную войну с маврами» [Лозинский 1914: 73, 95]. Фактически дело оказалось поставлено так, что бизнес, обладавший средствами, должен был откупаться от «наездов» инквизиции во избежание судебной расправы и полной конфискации. А порой пытались даже откупаться на самом высшем уровне: в конце XV века община крещеных евреев предложила королю 600 тыс. дукатов только за то, чтобы он стал платить инквизиторам жалованье из казны, снижая тем самым их коммерческий интерес к осуществлению репрессий [Камен 1965: 512].

Чтобы размер имущества, подпадавшего под конфискацию, увеличивался, придумывались хитрые правила. Например, можно было изымать все, чего касался еретик. В 1501 г. у купца Ландера был конфискован груз, поскольку на его судне обнаружили двух еретиков. В 1634 г. инквизиция конфисковала все товары и долговые обязательства португальских купцов, живших в Гамбурге, Голландии и Франции, и направила за рубеж агентов — выяснять, не евреи ли случаем эти люди. Современники отмечали, что конфискации ставят под удар всю внешнюю торговлю Испании (а позднее и Португалии). Ведь иностранные купцы не могут быть уверены в том, что их товар или их должники не очутятся в руках инквизиции, а значит, не могут быть уверены в том, что вложенные в бизнес деньги останутся целы [Лозинский 1914: 94, 256]. Получается, что в такой ситуации лучше не вести дел с Испанией вообще. Разве что король даст особые гарантии?

²⁴ Вот два характерных случая возникновения доносов: «А еще сказала, что если та не даст ей цветную саржу, то она сделает на нее ложный донос»; «И сказал этот монах вышеупомянутой Каталине де Саморе, своей матери: Донья, старая шлюха, если инквизиторы придут сюда, я сделаю так, чтобы вас сожгли, вас и ваших сестриц, как евреек» [Зеленина 2018: 186–187].

Другой способ содрать деньги в пользу инквизиции состоял в том, что с новообращенными христианами заключалась специальная сделка: за определенную сумму они получали гарантии того, что в течение определенного срока их имущество не будет конфисковано. Иногда целые округа заключали подобные соглашения с инквизицией и распределяли возникшую из-за этого «налоговую нагрузку» между городами. Сам факт того, что люди шли на подобные сделки, показывает, насколько велик был риск оказаться жертвой инквизиционной расправы, включающей в себя и конфискации. Когда Португалия была присоединена к Испании, доходы инквизиции сильно возросли, поскольку появилась возможность заключать сделки с богатыми португальскими маранами [Лозинский 1914: 95–96, 245–249; Lopez-Salazar 2013]. Подобные же сделки заключались и с морисками [Kamen 1965: 520].

Поскольку король и инквизиторы конфликтовали из-за «раздела награбленного», инквизиция выигрывала, когда вместо конфискации имущества еретика налагала штраф на преступника, от которого требовалось покаяние. Преступлением могла считаться любая мелочь: от оскорбления чувств верующих до оскорбления грубым словом инквизитора. И на собранные в виде штрафов деньги король не имел уже права претендовать. Таким образом, еретик обогащал государство, в то время как простой преступник — лишь инквизицию и Церковь [Лозинский 1914: 96–97].

Наконец, государство, инквизиция и Церковь могли подзаработать также на смягчении системы ограничения в правах потомков наказанных еретиков. Опасно ведь было доверять детям этих страшных людей заниматься медициной или аптекарским делом. Вдруг отравят или зарежут честных католиков? Нотариусы подделают документы? Судьи станут судить несправедливо? Но за хорошие деньги права на ведение бизнеса или на занятие должности возвращались [там же: 98].

Конфискация лежала в основе целого бизнеса, созданного инквизицией. Если она получала не только имущество, но и наличные деньги, то аккуратно инвестировала их в земли, коммерческие проекты или государственные бумаги [Kamen 1965: 517]. А порой деловые интересы инквизиторов оказывались даже близки к криминальной области. В 1502 г. депутаты Каталонии пожаловались королю на сотрудника барселонской инквизиции, придумавшего для себя и своей организации весьма выгодный бизнес. Он скупал по дешевке долги местного населения, а затем удивительно успешно их взыскивал. Можно легко догадаться, по какой причине ему не могли отказать. Впрочем, вскоре в Испании взялись и за

кредиторов, поскольку в ведение инквизиции была передана расправа с ростовщиками. Только в середине XVI века преследование ростовщиков прекратилось [Лозинский 1914: 129–132].

Коррупция насквозь пронизывала инквизицию. В 1544 г. инспектор барселонского трибунала сообщил, что все его инквизиторы (за исключением одного) берут взятки, распутничают с арестованными еретичками, да еще и дерутся между собой. А хуже всего ведет себя фискал, который обирает даже сам трибунал. Случаи «харассмента» фиксировались и в толедском трибунале. Но самая плохая репутация была у кордовского инквизитора, который пытками выбивал признания арестованных в том, что по всей стране действуют тайные синагоги, где иудействующие собираются для гибели христианства [там же: 133–139].

«Наезды» инквизиции на собственность обусловили стандартную реакцию испанского бизнеса, хорошо известную нам по сегодняшней России. Деньги купец зарабатывал у себя на родине в Испании, но выводил для сохранности в Нидерланды и даже во Францию, что, конечно, тормозило развитие испанского капитализма [Kamen 1965: 519]. В целом репрессии и даже опасения таковых сильно снижали стремление предпринимателей к осуществлению инноваций и к техническому развитию. Некоторые исследования показывают, что в тех регионах Испании, где инквизиция была сильнее, экономика испытывала больше трудностей [Vidal-Robert 2011: 23].

Впрочем, надо заметить, что Церковь не только брала, но и давала. Если инквизиция выглядела чем-то вроде «злого следователя», то многочисленные монастыри, заботящиеся о бедных, выглядели добрыми. К сожалению, на развитие экономики и общества даже эта доброта плохо влияла, хотя, конечно, деструктивные действия монахов осуществлялись с хорошими намерениями. Последствия постоянной раздачи хлеба голодным беднякам привели к особо печальным последствиям в Неаполе, который до войны за австрийское наследство был частью огромной испанской империи, а после этого стал столицей независимого государства.

С одной стороны, в Неаполе можно было ежедневно получать хлеб с тарелкой супа у монастырских ворот. Огромное число монахов и монашек (в совокупности около 50 тыс. в середине XVIII века) превращало благотворительность в широкомасштабную акцию, позволявшую выживать десяткам тысяч неработающих. С другой стороны, плохое состояние неаполитанской экономики приводило к тому, что полуголодное существование в деревнях и маленьких городках заставляло людей искать

иные источники существования вместо сельскохозяйственного и ремесленного труда. В итоге образовался непрерывный поток бедняков, переселяющихся в Неаполь. Этот город превратился в третий по величине мегаполис Европы после Лондона и Парижа, хотя уровень развития неаполитанской экономики качественно уступал уровню развития экономики английской и французской. Найти работу для такой массы людей было невозможно. Многочисленные бедняки просто оседали на улицах Неаполя, бездельничали целыми днями и приворовывали, не имея ни крыши над головой, ни постоянного источника заработка. Тем не менее они выживали благодаря монастырской благотворительности и хорошему неаполитанскому климату. Подобным образом возник целый социальный слой так называемых *lazzaroni*. Он непрерывно разрастался за счет притока новых людей и формировал криминальный образ жизни многих неаполитанских кварталов. Образовавшиеся там бандитские шайки занимались не только воровством, но и рэкетом, подрывая тем самым развитие бизнеса, который в иных условиях мог бы нормально существовать.

Проблема порой усугублялась политикой властей. Так, скажем, во время большого голода 1764 г. на селе устроили нечто вроде продразверстки, поскольку не нашли иного способа собрать продовольствие для огромного Неаполя. В итоге за несколько месяцев более 40 тыс. разоренных продразверткой и сильно изголодавшихся крестьян перебралось в столицу вслед за подводами отнятого у них зерна. Естественно, эти люди пополнили большие отряды попрошак, претендующих на кормежку у монастырских ворот. Таким образом, политика государственных репрессий, направленных на деревню, в сочетании с политикой церковной благотворительности, осуществлявшейся преимущественно в столице, заложили основы той бедности и той трудовой этики, которые и по сей день отличают значительную часть итальянского юга: кто не работает — тот ест.

Отнимая хлеб у тружеников, государство во время карнавала бесплатно раздавало продукты бездельникам, стремившимся нажраться любой ценой. Это уже была не цивилизованная благотворительность монахов, а дикая оргия, когда толпа на глазах у короля бросалась на выставленную для нее еду, рвала ее руками и зубами, причем тех, кто слабее, отталкивали и затапывали. В драке за кусок мяса вполне могли и убить, и победители потом вытаскивали завоеванную в схватке жратву из-под залитого кровью тела покойника. Неудивительно, что путешественники, которым доводилось наблюдать неаполитанские нравы,

характеризовали местное население как людей праздных и отвратительных во всех отношениях [Барбье 2018: 26–60].

Похожая картина складывалась и непосредственно в Испании, где по дорогам странствовало в XVIII веке не менее 140 тыс. нищих и бродяг (для сравнения: численность пролетариата тогда составляла 250 тыс.). Как и в Неаполе, эти люди, по всей вероятности, не смогли бы прожить без церковной благотворительности, обеспечивавшей их куском хлеба и миской супа [Суховерхов 2012: 26].

Каждая несчастливая — несчастлива по-своему

Открывающую «Анну Каренину» знаменитую фразу Льва Толстого «все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» [Толстой: часть 1, гл. I] можно вполне перенести на историю европейских государств Нового времени. У счастливой Англии мы обнаруживаем много общего со счастливой Голландией, когда выясняем важнейшие причины их экономического успеха [Травин 2018б]. «Умеренно счастливые» Франция, Пруссия, Швеция и Россия тоже во многом оказались похожи при построении государства с мощным фискальным аппаратом, сильной армией и разветвленной бюрократией [Травин 2019]. Но европейские несчастливцы в эту эпоху демонстрируют разный исторический путь. И об этом должно быть небольшое, но важное отступление при рассказе об испанском упадке.

Второй, наряду с Испанией, европейский неудачник Нового времени — это Польша, или, точнее, Речь Посполитая. Огромная восточная держава, объединявшая в свое время территории собственно Польши, Литвы, Западной Украины и Белоруссии, временами имела шанс стать еще крупнее. В середине XV столетия Владислав III принял, кроме польской, еще и венгерскую корону, но погиб в битве с турками под Варной. А в начале XVII века Польша в связи со смутными временами на Руси могла поставить в том или ином виде под свой контроль еще и московское государство. Однако в целом XVII столетие оказалось для нее неудачным. Польское государство утратило часть земель в связи с восстанием Богдана Хмельницкого. А в XVIII веке стало второстепенной державой, впадавшей во все большую зависимость от России. Наконец, к исходу столетия Польша потеряла независимость. Ее разделили между Россией, империей Габсбургов и Пруссией. Постепенно становившаяся все более очевидной слабость польской армии обернулась ко временам

становления екатерининской России полной неспособностью противостоять агрессии. При определенном раскладе сил Екатерина II, возможно, могла бы сохранить единую Польшу в качестве своего сателлита, но сопротивление двух соседних держав и нарастание антирусских настроений в польском обществе обусловили раздел.

Слабость армии не следует воспринимать как отсутствие героизма. В Средние века поляки хорошо сражались, что во многом и обусловило быстрое разрастание державы. Да и в Новое время порой (как в случае с приходом Яна Собеского под Вену) поляки могли демонстрировать героизм и эффективность. Проблема польской армии — это проблема финансирования и организации. Польское государство не смогло ответить на вызовы Нового времени в военном плане. В то время как Европа (в том числе Россия при Петре) менялась, Польша оставалась неизменной в тех существенных вопросах, которые влияли на ее обороноспособность.

Сильное абсолютистское государство могло мобилизовать средства на развитие армии за счет сбора налогов. Слабое государство, такое как Испания, в фискальной политике, как мы видели, не преуспело, однако долгое время могло подпитывать армию за счет колониальных доходов и налогов, взимаемых хотя бы на отдельных своих землях. Политическая система Польши, сложившаяся еще в Средние века, оказалась такой, что парламент (сейм) сумел вообще воспрепятствовать формированию абсолютизма. Король не мог получить от парламентариев столько средств, сколько требовалось для строительства дорогостоящей наемной армии Нового времени, вооруженной эффективным огнестрельным оружием.

Вряд ли можно говорить о том, что в основе польских проблем лежала какая-то специфическая национальная ментальность. Скорее, дело здесь в особенностях исторического пути страны, т. е. в том, что ряд важных политических событий существенно ослабил монархию и усилил аристократию. Началось все со смерти Казимира Великого, когда пресеклась по мужской линии королевская ветвь династии Пястов. На трон в этой ситуации претендовал Людовик Венгерский, который являлся Пястом по женской линии. Чтобы реализовать свои права, Людовик еще в 1355 г. (до кончины Казимира) объявил в Буде о привилегиях для польских сословий и обещал шляхте не собирать чрезвычайных налогов. А в 1374 г. Людовик, став польским монархом, провел в Кошице съезд сановников, рыцарства и представителей городов. Там был заключен договор, получивший название Кошицких привелеев (пактов). Король приобретал право передавать престол по женской линии своей дочери, а за

это обещал освободить землевладельцев от налогов и повинностей (оставив лишь небольшую формальную подать), а также предоставлять земские должности только уроженцам соответствующих польских земель. Тем самым Людовик Венгерский добровольно самоустраивался из фискальной и (в значительной степени) административной деятельности. После его кончины, случившейся в 1382 г., рыцарство при участии других сословий собрало (в 1384 г.) конференцию в Радомске и выбрало дочь Людовика Ядвигу для того, чтобы занять освободившийся трон. Сам факт призвания Ядвиги, а также ее юный возраст и опасность, связанная с наличием других претендентов на престол, укрепили права влиятельных людей на совместное с монархом управление Польшей. Королевство стало рассматриваться не просто как территория, которой довелось распоряжаться королю, а как пространство, непосредственно связанное с населяющим его народом (*gens, natio, populus*). В дальнейшем аристократия настояла на замужестве Ядвиги и предложила ее руку Великому князю Литовскому Ягелло (Ягайло), который должен был креститься по латинскому обряду. В 1385 г. была заключена Кривская уния Польши с Литвой. А после смерти Ядвиги (1399 г.) права «иностранца» Ягелло на трон были подтверждены королевским советом. Так вследствие ряда обстоятельств (пресечение по мужской линии двух династий, спорная легитимность призванного из языческой Литвы короля и сила местной аристократии) утвердился принцип выборности монарха [Бандтке 1830а: 286–293; Дыбковская, Жарын, Жарын 1995: 52–59; Тымовский, Кеневич, Хольцер 2004: 106–108; Frost 2015: 8–11, 65–66].

Возможно, этот принцип не сохранился бы на протяжении веков и королевская власть смогла бы отвоевать свои права, но у Владислава Ягелло и Ядвиги не было общих детей. Сыновья появились у короля лишь от четвертой жены. Чтобы получить права на престол для сына, в жилах которого вообще уже не текла кровь Пястов (притом что сохранялись боковые ветви этой династии), король на сейме в Едлине в 1430 г. пожаловал новые привилегии, в которых обещал не арестовывать шляхтича без приговора суда, не покушаться на его собственность, не заставлять его бесплатно нести военную службу за границей, а также не чеканить монету без разрешения «государственных чинов». За это сословия обязались выбрать королем сына Ягелло, причем того, у которого, с их точки зрения, будет больше качеств, необходимых для правителя, да еще и при условии сохранения всех законов государства. Тем самым убедительно подчеркивался принцип выборности короля. После кончины Ягелло (1434 г.) королем был избран его сын Владислав III, но уже через

десять лет он погиб, не оставив детей, и вновь на повестку дня встал вопрос избрания монарха. Им стал Казимир IV — брат Владислава III [Бандтке 1830б: 22–23; Дыбковская, Жарын, Жарын 1995: 66; Тымовский, Кеневич, Хольцер 2004: 133; Frost 2015: 131]. Таким образом, первоначальное компромиссное соглашение между монархом и нобилитетом сохранялось, однако король по мере появления новых обстоятельств становился все слабее, а аристократия — сильнее. Для ведения войны монарху очень нужны были деньги, но шляхта не желала раскошиться, поскольку еще Людовик Венгерский обещал не облагать ее податями. «Казимир IV имел дело с двумя неприятелями — с крестоносцами и польским дворянством; и когда надлежало сражаться с первыми, он должен был торговаться с последними» [Бандтке 1830б: 48]. Польское государство теперь рассматривалось скорее не как вотчина монарха, а как «условная» монархия, как своеобразная *res publica* (хотя, конечно, не в современном понимании слова «республика»). Тем самым Польша радикально отличалась и от большинства западноевропейских стран, и от Московии.

Очередной серьезный поворот случился в 1572 г. с пресечением Ягеллонов. Отсутствие легитимного наследника у покойного Сигизмунда-Августа II привело к еще большему усилению аристократии. Теперь ей вообще не противостояла королевская династия. Монархия стала выборной²⁵. Причем произошло это как раз в ту эпоху, когда различные европейские государи, наоборот, укрепляли свою власть. Возрастала потребность государства в деньгах для ведения крупномасштабных войн. Содержание армии становилось все дороже. Оплата наемников, строительство фортификационных сооружений и оснащение войск огнестрельным оружием требовали денег, денег и еще раз денег (согласно знаменитому выражению Джана Джакомо Тривульцио), которые короли стремились выкачивать из народа. Но в Польше народ власть королей ограничил и, соответственно, ограничил поборы.

Таким образом, можно сказать, что упадок Польши, как и упадок Испании, был связан с неспособностью измениться и ответить на те вызовы времени, на которые другие страны ответили. Причем конкретные причины этой неспособности у Польши и Испании сильно различались.

²⁵ Нельзя исключить того, что сильный король мог бы в определенной мере восстановить наследственную монархию и ограничить права сейма. Считается, что у Стефана Батория были подобные намерения, но он скончался, не успев их осуществить [Бандтке 1830б: 166].

В одном случае развитию помешали магнаты, ограничивавшие слабого короля с помощью сильного парламента. В другом — сильная Церковь, не вступавшая в конфликт с монархом, но при этом и не допускавшая формирования новых институтов. В итоге получилось так, что «в 1760-е гг., когда польское государство все еще занимало территорию большую, чем Франция, ее национальная армия насчитывала всего 16 000 человек, в то время как у польского дворянства под ружьем стояло 30 000 чел. Это было время, когда соседние Россия, Австрия и Пруссия имели армии в 200 000 — 500 000 чел.» [Тилли 2009: 205].

Естественно, проблемами польских финансов и, соответственно, польской армии являлись общая бедность страны, отсутствие богатых торговых городов, крупных налогоплательщиков и кредиторов, способных дать королю денег взаймы (что, как мы видели на примере Испании, оборачивалось порой превращением займа в безвозвратный). Но характерно, что апогея проблемы военного строительства достигли в то время, когда Польша разбогатела на экспорте зерна и теоретически могла бы создать наемную армию, способную сопротивляться таким соседям, как Швеция и Россия, тоже не отличавшимся благополучием в финансовой сфере. При всей важности проблем польской бедности и периферийности, главной проблемой все же являлась именно форма государства, неспособного мобилизовывать ресурсы.

В этом смысле Польша была похожа на Англию и Венгрию, где еще в XIII веке аристократия смогла ограничить королей в правах на изъятие ее средств. Английская Великая хартия вольностей (1215 г.) и венгерская Золотая булла (1222 г.) не обеспечили, конечно, демократии, но создали сильный противовес для королевской власти, что впоследствии неоднократно затрудняло осуществление государственных инвестиций в военное строительство. В частности, в Венгрии король Жигмонд (Сигизмунд) оказался вынужден соглашаться на условия баронов, чтобы в целом сохранить свою власть, а при Яноше Хуньяди постоянными стали заседания государственного собрания. В дальнейшем Матиаш Хуньяди взял у аристократии реванш и усилил личную власть [Контлер 2002: 94–95, 141–152]. Но мы так никогда и не узнаем, чем закончилось бы венгерское противостояние монархии с аристократией при «нормальном» развитии событий. Венгрия оказалась на пути продвижения в Европу сильной османской армии и не устояла в битве при Мохаче в 1526 г. С этого времени вопрос об условной «венгерской модели» не мог уже рассматриваться в Европе. Венгрия пала. Восточная ее часть была оккупирована, западная смогла сохраниться лишь как часть империи Габ-

сбургов. По сути, Венгрия стала несчастной почти по такому же сценарию, как Речь Посполитая, но в польском случае мы имеем более «чистый эксперимент», в котором не было внезапного нашествия с востока, а было постепенное изменение соотношения сил между соседями, вызванное различиями их политических систем.

У Англии же оказалась значительно более счастливая судьба. Островное положение, а впоследствии формирование сильного флота уберегли ее от агрессии соседей. Англия точно так же, как Польша, не смогла создать сильную сухопутную армию, но сегодня это не воспринимается нами в качестве признака слабости. Как говорится, победителей не судят (в том числе судом истории). Хартия вольностей, сильный парламент и слабость короля позволили сформировать на острове оптимальные условия для экономического развития [Травин 2018б]. Но те же самые условия на континенте, где Польша не была ограждена от нашествия врагов, стали залогом не успешного развития, а национальной катастрофы — утраты независимости. Если в Англии деньги, сэкономленные на налогах, могли инвестироваться в бизнес и это сделало англичан сильнейшей торговой нацией XVII века, то в Польше экономия на налогах обернулась неспособностью отражать внешние угрозы и это обусловило в том же XVII веке поражения, понесенные от шведов.

Может ли Речь Посполитая считаться одной из возможных моделей для развития России? При взгляде из дня нынешнего некоторым авторам представляется, будто бы Польша или Великое княжество Литовское обладали современными чертами — свободой, парламентаризмом и демократией, т. е. тем, к чему должна приводить модернизация. Соответственно, неспособность или нежелание России пойти по польскому пути этим авторам видится неискоренимым российским пороком — точнее, признаком неспособности к модернизации [Заостровцев 2020: 157–192].

Но, вообще-то, на протяжении долгого времени именно Польша была для Московии самым наглядным Западом — ближе всего расположенным и непосредственно демонстрирующим свои успехи. Особенно велико было влияние Польши в период Смуты начала XVII века, когда эта страна демонстрировала свою силу. Из Польши через Малороссию, через Киево-Могилянскую академию в Московию приходили те знания, которые хотел приобрести ограниченный круг прогрессивно мыслящих людей [Травин 2017: 53]. Однако в дальнейшем, когда польские слабости стали всерьез сказываться на устойчивости государства, польский пример перестал быть соблазнительным. К петровским временам уже

невозможно было говорить о том, что находящийся на распутье русский витязь приглядывается к польскому историческому пути. Петр готов был учиться у шведов и у других народов, но Польша в этот момент становилась, скорее, примером того, как нельзя строить государство. Если кому-то нужен был наглядный пример того, что слабый монарх и сильный сейм — это путь к национальной катастрофе, то как раз Польша его и предоставляла. Современники это хорошо понимали, поскольку именно Польша в XVIII веке просила денег у России на содержание армии, а не наоборот [Соловьев 1993: 614].

Все наши сегодняшние представления о важности разделения властей, выборности парламента и гарантирования прав человека ничего не значили для конца XVII — начала XVIII столетия. Ни укрепление государства, ни успешное ведение войны невозможны были при таком подходе. «Европейские ценности» того времени (если вообще можно о них говорить) выглядели совершенно иначе.

Демократизация Польши, если смотреть на этот процесс с наших сегодняшних позиций, представляется позитивным явлением. Более того, Польша, наряду с Англией и Голландией, предстает одной из наиболее прогрессивных европейских стран. Кажется, что лишь историческая случайность, приведшая в XVIII веке к разделу Речи Посполитой, или, точнее сказать, коварство соседних абсолютистских государств помешали полякам выйти на передовые позиции в Европе. Дело здесь, увы, не в случайности. Точнее, проблема состояла в целой цепочке случайностей, которая породила «демократический» польский режим, не сумевший решить конкретные задачи своей эпохи, но хорошо выглядящий на взгляд теоретиков.

Более того, коварство России, Пруссии и империи Габсбургов выглядит таковым лишь с позиций дня нынешнего, тогда как для той эпохи раздел «никому не принадлежащей» страны представлялся делом хотя и весьма необычным, но вполне вписывающимся в представления о божественном происхождении власти. Вот, например, что писал об этом лорд Актон: «Польша не обладала гарантиями стабильности, вытекавшими в других странах из династических связей и из теории законности власти, согласно которой корона передавалась по наследству или в результате брака. Монарх, в жилах которого не текла королевская кровь, корона, возложенная по воле народа, — были в ту эпоху династического абсолютизма возмутительными аномалиями, поруганием священных прав. Страна была исключена из европейской системы в силу самой природы своих институтов. <...> И вот после долгой борьбы в поддержку

кандидатов, которые были их ставленниками, соседи Польши отыскивали наконец средство для окончательного уничтожения польского государства. <...> Впервые в новой истории значительное государство было разделено соединенными усилиями врагов, которые поделили между собой всю его территорию и весь народ» [лорд Актон 2016: 139–140]. Иными словами, именно логика «демократизации», а вовсе не случайность, привели к разделу Польши.

Россия vs Испания

Примерно за полвека до маркиза де Кюстина, писавшего о русских как о рабах, другой француз Николас Массон де Морвилье писал про испанцев, что инквизиция формирует из них рабов, лицемеров и даже пигмеев [Goodman 2005: 376]. Однако на консервативном испанском фоне положение дел в России XVIII века выглядело не так уж плохо. Естественно, не стоит думать, будто наша страна опередила Испанию в условной модернизационной гонке: подобные сравнения особого смысла не имеют, поскольку по разным параметрам успехи были различны. Одно лишь существование крепостного права в России сильно тянуло нас назад. В Испании его давно уже не существовало, хотя в латиноамериканских колониях практиковалась энкомьенда.

Положение дел в России было сравнительно неплохим, поскольку петровские преобразования позволили нашей стране сломать некоторые существовавшие ранее ограничители развития, тогда как в Испании контрреформация, скорее, укрепляла консервативные начала. Если, скажем, в XVI веке Испания выглядела самой сильной в военном и финансовом смыслах европейской страной со сравнительно неплохой экономкой, а Россия тогда лишь только поворачивалась лицом к Европе, то в XVIII веке все переменялось. Испания и Россия находились примерно в «одной весовой категории» периферийных европейских стран с большими проблемами развития. При этом в военном плане Россия становилась гигантом, а Испания превращалась в карлика, судьбу которого решают другие европейские страны.

Значение петровских реформ для развития нашей страны состояло, впрочем, не столько в перестройке армии, сколько в формировании общей атмосферы, благоприятной для заимствования европейских институтов. Армия позволяла России прирастать землями, но не делала страну более успешной в экономическом и политическом плане. А вот нарас-

тавший с петровских времен интерес россиян к Европе повлиял в конечном счете на общий ход модернизации. Наверное, в этом случае можно говорить о своеобразных непреднамеренных последствиях преобразований. Петр менял страну, чтобы монархия стала сильнее, однако в итоге изменения способствовали тому, что народ стал цивилизованнее.

Во-первых, Петр существенно ограничил роль Церкви [Карташев 1992: 320–377]. Он ликвидировал ее как самостоятельную организацию, устранил патриаршество и поставил священников под контроль Синода, в котором заправлял обер-прокурор, являвшийся царским ставленником. Тем самым Церковь превратилась в институт, не способный сопротивляться переменам. Если в XVII веке Церковь, несмотря на свое подчиненное по отношению к самодержавию положение, могла активно влиять на ментальную атмосферу в России, то в XVIII веке она заправляла лишь своими собственными делами. Эта перемена была чрезвычайно важной, поскольку для православных людей XVII века новшества, приходившие с Запада, были «латынской ересью». И соответственно, тот, кто слишком увлекался заимствованиями, попадал в сложное положение. Его могли осуждать, и, уж во всяком случае, редко соблазнялись примером такого странного человека. Надо было быть весьма смелой и независимой личностью, чтобы интересоваться западной культурой при таком отношении Церкви. В XVIII веке подобная проблема исчезла. Русский человек оставался православным, но при этом вполне мог активно интересоваться западным опытом построения армии, западной экономикой или западной культурой.

Во-вторых, Петр сформировал интерес к заимствованиям на Западе. Точнее, этот интерес превратился из личного дела отдельного человека в дело государственное. В XVII веке государство стремилось использовать зарубежный военный опыт и формировать полки иноземного строя, однако интереса к глубокому проникновению в западную культуру с его стороны не имелось. А отдельные прогрессивные люди той эпохи, вроде Василия Голицына, Бориса Морозова или Федора Ртищева, Западом интересовались, но, скорее, на культурном уровне. Петр же поставил вопрос иначе. Ему нужно было перестроить не только армию, но и финансы, бюрократическую систему, территориальное устройство. Фактически изучение любого вопроса имело теперь государственное значение. Сам факт обучения на Западе стал рассматриваться как дело благое, а не как опасное вольномыслие, способное привести ересь в патриархальную российскую жизнь. Если раньше тот, кто хотел стать европейцем, делал это вопреки сложившимся нравам, то теперь тот, кто не хотел становить-

ся европейцем, мог рассматриваться в качестве опасного или по крайней мере бесполезного для государя человека.

Таким образом, в России коренное изменение положения Церкви превратило ее в подчиненную государству структуру, и это позволило развиваться массовому интересу к Западу. В Испании же Церковь оставалась партнером государства. У нее были свои интересы и сохранялись свои формы влияния на общество, что заставляло государство идти навстречу Церкви, а не ломать ее «через колено», как в России. Контрреформация и, в частности, репрессивная политика инквизиции в Испании оказались таким важным инструментом консерватизма, какого не было в России.

Нельзя сказать, конечно, что контрреформация лишь тормозила развитие. Сила ее заключалась в том, что она была формой развития, хотя и весьма своеобразной. Церковь давала людям образование. Церковь закладывала основы социальной политики. Церковь покровительствовала искусству. Но и образование, и социальная политика, и искусство работали на консервацию общества по принципу, сформулированному в «Гепарде» Лампедузы: «...для того чтобы все осталось как прежде, надо, чтобы все изменилось» [Лампедуза: часть 4].

В послепетровской России ничего подобного не было. Наше движение в Европу шло более быстрыми темпами в соответствии с теорией логики коллективных действий Мансура Олсона [Олсон 2013]: слабая православная Церковь могла выторговать себе меньше прав и, соответственно, меньше тормозила развитие, чем сильная католическая Церковь эпохи контрреформации.

Литература

Аджемоглу Д., Робинсон Д. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты. М.: АСТ, 2015.

Актон лорд. Очерки становления свободы. М.; Челябинск: Социум, 2016.

Арнасон Й. Цивилизационные паттерны и исторические процессы. М.: Новое литературное обозрение, 2021.

Арриги Д. Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: Территория будущего, 2006.

Бандтке Г. История государства Польского. Т. I. СПб.: Типография Императорской Российской академии, 1830а.

Бандтке Г. История государства Польского. Т. II. СПб.: Типография Императорской Российской академии, 1830б.

Барбье П. Празднества в Неаполе: театр, музыка и кастраты в XVIII веке. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2018.

Биллингтон Д. Икона и топор. Опыт истолкования истории русской культуры. М.: Рудомино, 2001.

Блюш Ф. Людовик XIV. М.: Ладомир, 1998.

Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. Ч. I: Роль среды. М.: Языки славянской культуры, 2002.

Ведюшкин В, Попова Г. (ред.). История Испании. Т. 1: С древнейших времен до конца XVII века. М.: Индрик, 2012.

Вельцель К. Рождение свободы. М.: АО «ВЦИОМ», 2017.

Вершинин Е. Русская колонизация Северо-Западной Сибири в конце XVI — XVII вв. Екатеринбург: Демидовский институт, 2018.

Волосюк О., Липкин М., Юрчик Е. (ред.). История Испании. Т. 2: От войны за испанское наследство до начала XXI века. М.: Индрик, 2014.

Гайдар Е. Гибель империи. Уроки для современной России. М.: РОССПЭН, 2006.

Гинзбург К. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. М.: РОССПЭН, 2000.

Григулевич И. Инквизиция. М.: Политиздат, 1976.

Декарт Р. Первоначала философии // Декарт Р. Сочинения. Т. 1. М.: Мысль, 1989а.

Декарт Р. Письма К. М. Мерсенну (конец ноября 1633 г. и апрель 1634 г.) // Декарт Р. Сочинения. Т. 1. М.: Мысль, 1989б.

Дмитриева З., Козлов С. Налоги и войны в России XVI–XVIII вв. СПб.: Историческая иллюстрация, 2020.

Добронравин Н. Современное государство, кукуруза, портувейн: первая португальская модернизация, ее срыв и глобальное наследие. Препринт М-57/17. Центр исследований модернизации. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017.

Доносо Кортес Х. Речь о положении в Испании, произнесенная в парламенте 30 декабря 1850 г. // Доносо Кортес Х. Сочинения. СПб.: Владимир Даль, 2006.

Дыбковская А., Жарын М., Жарын Я. История Польши с древнейших времен до наших дней. Варшава: Научное издательство ПВН, 1995.

Дюверже К. Кортес. М.: Молодая гвардия, 2005.

Заостровцев А. Полемика о модернизации: общая дорога или особые пути. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2020.

Зеленина Г. Огненный враг марранов. Жизнь и смерть под надзором инквизиции. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018.

Ивонина Л. Мазарини. М.: Молодая гвардия, 2007.

Израэль Д. Голландская республика. Ее подъем, величие и падение. 1477–1806. Т. II. М.: Клио, 2018.

Иннес Х. Конкистадоры. М.: Центрполиграф, 2002.

Карташев А. Очерки по истории русской церкви. Т. 2. М.: Terra, 1992.

Кеймен Г. Испания: дорога к империи. М.: АСТ; Хранитель, 2007.

Кеннеди П. Взлеты и падения великих держав. Экономические изменения и военные конфликты в формировании мировых центров власти с 1500 по 2000 г. Екатеринбург: ГОНЗО, 2018.

Колумб Х. Путешествия Христофора Колумба. Дневники, письма, документы. М.: Эксмо, 2010.

Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. М.: Весь мир, 2002.

Красноглазов А. Сервантес. М.: Молодая гвардия, 2003.

Кузнецов Б. Галилей. М.: Наука, 1964.

Лависс Э., Рамбо А. (ред.). История XIX века. Т. 3. М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1938.

Ли Г. Ч. Инквизиция // Бемер Г. Иезуиты. Ли Г. Ч. Инквизиция. СПб.: Полигон, 1999.

Лозинский С. История инквизиции в Испании. СПб.: Брокгауз — Эфрон, 1914.

Любавский М. Обзор истории русской колонизации с древнейших времен и до XX века. М.: Изд-во Московского университета, 1996.

Мадариага С. де Англичане, французы, испанцы. СПб.: Наука, 2003.

Мак-Нил У. В погоне за мощью. Технология, вооруженная сила и общество в XI–XX веках. М.: Территория будущего, 2008.

Мильская Л., Рутенбург В. (ред.). История Европы с древнейших времен до наших дней. Т. 3: От Средневековья к Новому времени (конец XV — первая половина XVII в.). М.: Наука, 1993.

Миронов Б. Российская империя: от традиции к модерну. Т. 1. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014.

Мовчан А., Митров А. Проклятые экономики. М.: АСТ, 2020.

Монтер У. Ритуал, миф и магия в Европе раннего Нового времени. М.: Искусство, 2003.

Монтескье Ш. О духе законов // Монтескье Ш. избранные произведения. М.: Государственное изд-во политической литературы, 1955.

Олсон М. Возвышение и упадок народов. Экономический рост, стагфляция и социальный склероз. М.: Новое издательство, 2013.

Ортега-и-Гассет Х. Гойя и народное // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М.: Искусство, 1991.

Павлов П. Промысловая колонизация Сибири в XVII в. Красноярск: Красноярский государственный педагогический институт, 1974.

Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии. М.: Ad Marginem, 1996.

Перес-Реверте А. История Испании. М.: КоЛибри, 2021.

Пирсон К. Просто собственность: ее история на латинском Западе. Т. 1: Богатство, добродетель и право. М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2020.

Плэйди Д. Испанская инквизиция. М.: Центрполиграф, 2002.

Понеделко Г. Государство в экономике Испании: взгляд в прошлое и современность. М.: Наука, 1991.

Поссе А. Райские псы. Київ: Фіта, 1995.

Сальвуччи Р. Капитализм и зависимость в Латинской Америке // Нил Л., Уильямсон Д., ред. Кембриджская история капитализма. Т. 1: Подъем капитализма: от древних истоков до 1848 года. М.: Изд-во Института Гайдара, 2021.

Сарайва Ж. История Португалии. М.: Весь мир, 2007.

Скиннер К. Истоки современной политической мысли. Т. 2: Эпоха реформации. М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2018.

Скрынников Р. Сибирская одиссея Ермака // Скрынников Р. Далекый век. СПб.: Лениздат, 1989.

Соловьев С. История России с древнейших времен. Т. 19–20 // Соловьев С. Сочинения: в 18 кн. Кн. X. М.: Мысль, 1993.

Суховерхов В. Г. М. де Ховельянос: философско-теологические и социально-политические воззрения. М.: Мысль, 2012.

Талеб Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. М.: КоЛибри, 2015.

Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990–1992 гг. М.: Территория будущего, 2009.

Томас Х. Реки золота. Подъем испанской империи. М.: АСТ, 2016а.

Томас Х. Золотой век испанской империи. М.: АСТ, 2016б.

Томас Х. Великая испанская империя. М.: АСТ, 2018.

Травин Д. У истоков модернизации: Россия на европейском фоне (доклад второй). Препринт М-31/13. Центр исследований модернизации. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013.

Травин Д. У истоков модернизации: Россия на европейском фоне (доклад четвертый). Препринт М-45/15. Центр исследований модернизации. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015.

Травин Д. Модернизация и реформация. Препринт М-60/17. Центр исследований модернизации. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017.

Травин Д. «Особый путь» России: от Достоевского до Кончаловского. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018а.

Травин Д. Англия: история успеха (Россия Нового времени: выбор варианта модернизации. Доклад 1). Препринт М-67/18. Центр исследований модернизации. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018б.

Травин Д. Франция: успешная страна на пути к провалу (Россия Нового времени: выбор варианта модернизации. Доклад 2). Препринт М-74/19. Центр исследований модернизации. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019.

Травин Д. Почему Россия отстала? СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2021.

Травин Д., Маргания О. Европейская модернизация. Кн. 1. М.; СПб.: АСТ, Terra Fantastica, 2004.

Тымовский М., Кеневич Я., Хольцер Е. История Польши. М.: Весь мир, 2004.

Унамуну М. О трагическом чувстве жизни. К.: Символ, 1996.

Фейерабенд П. Против метода: очерк анархистской теории познания. М.: АСТ, 2007.

Франкопан П. Шелковый путь. М.: Эксмо, 2021.

Фукуяма Ф. Государственный порядок. М.: АСТ, 2015.

Харрисон Л. Евреи, конфуцианцы и протестанты: культурный капитал и конец мультикультурализма. М.: Мысль, 2016.

Ходарковский М. Степные рубежи России. Как создавалась колониальная империя. 1500–1800. М.: Новое литературное обозрение, 2019.

Шмутцер Э., Шютц В. Галилео Галилей. М.: Мир, 1987.

Штекли А. Галилей. М.: Молодая гвардия, 1972.

Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М.: Новое литературное обозрение, 2014.

1812 год. Баронесса де Сталь в России // Россия первой половины XIX в. глазами иностранцев. Л.: Лениздат, 1991.

Alvarez-Nogal C., Prados de la Escosura L. The Decline of Spain (1500–1850): conjunctural estimates // *European Review of Economic History*. 2007. Vol. 11, N 3.

Alvarez-Nogal C., Prados de la Escosura L. The Rise and Fall of Spain (1270–1850) // *The Economic History Review*. 2013. Vol. 66, N 1.

Bergemann P. Judge Thy Neighbor: *Kamen H.* The Decline of Spain: A Historical Myth?: A Rejoinder // Past and Present. 1981. N 91.

Lopez-Salazar A. General Inquisitors and Portuguese Crown in the Seventeenth Century: Between Political Service and the Defense of the Faith (1578–1705) // Mediterranean Studies. 2013. Vol. 21, N 2.

Mundy J. Europe in the High Middle Ages. 1150–1309. London and New York: Longman, 1991.

Pike R. The Genoese in Seville and the Opening of the New World // The Journal of Economic History. 1962. Vol. 22, N 3.

Thompson I. Map of Crime in Sixteenth Century Spain // The Economic History Review. 1968. Vol. 21, N 2.

Vidal-Robert J. An Economic Analysis of Spanish Inquisition's Motivations and Consequences // Job Market Paper, October 2011. URL: <https://www.business.unsw.edu.au/About-Site/Schools-Site/Economics-Site/Documents/J.%20Vidal-Robert%20-%20An%20Economic%20Analysis%20of%20the%20Spanish%20Inquisition%E2%80%99s%20Motivations%20and%20Consequences.pdf> (дата обращения: 22.08.2020).

Zanden J. van, Buringh E., Bosker M. The Rise and Decline of European Parliaments, 1188–1789 // The Economic History Review. 2012. Vol. 65, N 3.

Художественная литература

Достоевский Ф. Братья Карамазовы.

Лампедуза Д. Гепард. Пер. Е. Дмитриевой.

Лесаж А. Р. Похождения Жиль Бласа из Сантьяны. Пер. Г. Ярхо.

Перес-Реверте А. Тень гильотины, или добрые люди. Пер. Н. Беленькой.

Сервантес Сааведра М. де Хитроумный идалго Дон Кихот Ламанский. Пер. Н. Любимова.

Толстой Л. Анна Каренина.

Травин Д. Я.

**Испания: история провала
(Россия Нового времени: выбор варианта
модернизации. Доклад 3)**

Препринт М-89/22

В авторской редакции

Корректор — Д. Капитонов

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге
191187, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, 6/1А

books@eu.spb.ru

Подписано в печать 19.01.2022.

Формат 60x88 1/16. Тираж 20 экз.